БОРИС ЗАЙЦЕВ

В ПУТИ

ВОЗРОЖДЕНІЕ

БОРИС ЗАЙЦЕВ

В ПУТИ



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНІЕ — LA RENAISSANCE
73, Avenue des Champs Elysées
Париж

К пятидесятилѣтію литературной дѣятельности

МОЛОДОСТЬ — РОССІЯ

Мои ранніе годы проходили в мирной, благодатной Россіи, в любящей семьѣ, были связаны с Москвой, жизнью в достаткѣ — средне-высшаго круга интеллигенціи русской.

Условія будто и хороши, всетаки это трудно. Из отрока вырастает юноша, уже человѣк. В своем родѣ рожденіе к настоящей жизни. И подспудныя силы пробуждаются, стихіи, томящія и мучающія, и неразрѣшимые вопросы, и главнѣйшій, может быть, вопрос: что будешь в жизни дѣлать? Чему отдашь силы, которых еще так много и не знаешь, куда их приложить?

То, к чему влекло — литература, находилось в противорѣчіи полном с окружающим: с дѣтских лѣт инженеры, заводы... — Отец был увѣрен, что и сын его будет инженером. Сын учился, выдерживал конкурсные экзамены — каких только ни выдержал!..... и томился потаенными попытками литературы.

Первые шаги всегда тяжки. Вспоминая всетаки свое начало, не могу укорить старших, в чьих руках находились наши судьбы. Скорѣе удивляюсь их вниманію, терпѣнію.

В 1900 г., студентом Горнаго Института, послал я довольно большую рукопись свою Н. К.

Михайловскому (вмѣстѣ с Короленко редактировал он журн. «Русское Богатство»). Спустя нѣкое время разузнал о пріемных его часах, отправился к нему.

В большой, очень свѣтлой комнатѣ петербургской квартиры около Литейной, за огромным столом посрединѣ, заваленным книгами и рукописями — книг было множество и на полках по стѣнам — сидѣл маленькій человѣк с гривой сѣдых волос на головѣ, умным и скорѣе пріятным лицом. Совершенно неизвѣстнаго ему юношу принял очень любезно.

— Рукопись? Да, прочел. Думаю, напечатаем. Но должен послать в Полтаву, Владиміру Галактіоновичу. Мы оба читаем.

Не помню, что говорил еще Михайловскій. Сам я не мог никакого слова произнести: тот, кто знает, что такое девятнадцать лѣт, поймет.

Однако навсегда запомнилось, как Михайловскій поднялся (и тут ясно стало, что вся сила его в головѣ и сѣдых кудрях — голова над столом возвышалась совсѣм немного), протянул руку довольно величественно:

— Молодой человѣк, благословляю вас на литературный путь!

Можно ли было послѣ этого «продолжать» сопротивленіе матеріалов, кристаллографію? — Я все бросил и уѣхал в Москву к родителям.

Владимір Галактіонович Короленко жил в это время в Полтавѣ, был чистѣйшій и простодушный автор, к людям обращен благожелательно. Бывают такія природно-добрыя натуры. Обо мнѣ понятія не имѣл. Но вот не только внима-

тельно прочитал, но и отвѣтил подробным, привѣтливым и сочувственным письмом, отклонив однако-же начисто эту вещь для «Русскаго Богатства»: в чем был и прав, разумѣется.

Но остановить меня было уж невозможно. Я и мучился, и еще пробовал, в Москвѣ, тоже неудачно. Все это было для меня важнѣйшее, самое в жизни первое. Добрался до Чехова, писаній моих и он не избѣжал. Это грѣх мой перед ним, зато он, и не подозрѣвая, навсегда отложил во мнѣ скромный, прекрасный свой облик, нѣсколькими привѣтливыми словами поддержав в юном человѣкѣ вѣру в себя и упорство.

Эти трое: Михайловскій, Короленко и Чехов — первые мои крёстные, но практически безполезные. Всѣ гораздо меня старше! Нужен был болѣе молодой, болѣе сверстник.

***

В первых годах вѣка издавалась в Москвѣ газета «Курьер». «Русскія Вѣдомости» были солиднѣй. Старые либеральные профессора, в сапогах с рыжими голенищами под штанами на выпуск, в крахмальных отложных воротничках, в іюлѣ надѣвавшіе калоши, издавали их. Чернышевскій переулок близ Большой Никитской, «Русскія Вѣдомости» — офиціоз интеллигенціи русской!

— Нѣт-с, это в «Русских Вѣдомостях» напечатано!

Значит, уж вѣрно. Если в «Русских Вѣдомостях»....

«Курьер» был моложе, лѣвѣй и задиристѣй. Помѣщался тоже в переулкѣ, но подальше, чуть-ли не в Трехпрудном, в домѣ Мамонтовской типографіи. И пейзаж его вовсе иной.

Старых, весьма порядочных и весьма самоувѣренных профессоров, находившихся «на посту», «честно мыслившнх», умѣренно осуждавших «реакцію, которая подымает голову», здѣсь не было. Возглавлял «Курьер» Яков Александрович Фейгин, хроменькій, умный и спокойный. В сѣром пиджачкѣ, но болѣе европейскаго вида, иногда с цвѣточком в петлицѣ, сидѣл он в небольшой, свѣтлой комнатѣ дома Мамонтовской типографіи, читал рукописи, корректуры, ходил с палочкой, сильно прихрамывая, и довольно-таки безшумно управлял своим заведеніем, гдѣ вѣрным ему помощником был Новик, секретарь редакціи — царство ему небесное — скончался он уже здѣсь, в эмиграціи. Очень обходительный и пріятный человѣк.

А сотрудники пестрые. Вѣроятно, не так легко было Якову Александровичу находить среднее-пропорціональное между, скажем, Иваном Буниным и критиком Шулятиковым, яростным марксистом, стремившимся обратить «Курьер» в боевой орган. Критик-же он был странный: напримѣр, укорял Тютчева за то, что иной раз он восхваляет день, иной раз ночь (так что нельзя понять, «за кого» он).

Сам Шулятиков, котораго я никогда не видал, но о нем слышал только, тоже не совсѣм был послѣдователен: с одной стороны марксист, с другой пьяница. И совсѣм в русском духѣ, напивался так, что засыпал на столѣ в редакціон-

ной комнатѣ. А другой марксист, Петр Семеныч Коган, в ином родѣ, европейском: худенькій, с копной черных, в завиткѣ, волос, в высоких бѣлых воротничках, образованный и культурный. Читал исторію литературы на Педагогических Женских курсах. Когда садился на каѳедру, курсисткам видна была снизу одна кудлатая его голова. Онѣ прозвали его пуделем. Но уважали. И, конечно, влюблялись.

Однако-же больше всѣх выдѣлялся в «Курьерѣ» Леонид Николаевич Андреев. Знакомство с ним, доброе его отношеніе очень мнѣ облегчило первые шаги.

Он был тогда молод, очень красив, с прекрасными карими глазами, ходил еще в пиджакѣ (позже в бархатной курткѣ или поддевкѣ: горьковскій стиль). Родом из Орла, кончил Московскій Университет («Дни нашей жизни» — типичный студент с Козихи, но живой, с фантазіей, одаренный и в нѣкоем смыслѣ «роковой»). В жизнь вышел помощником присяжнаго повѣреннаго. Начинал в «Курьерѣ» скромно — судебным репортером, но дарованіе литературное выдвинуло: кромѣ отчетов стал писать разсказы и быстро прославился.

Вот с ним получалось, разумѣется, легче, чѣм с Михайловским, Короленко, даже Чеховым. Он, хоть и старше, но не настолько. И еще не на Олимпѣ, свой, как-бы старшій брат, пробующій тоже нѣчто новое. Хоть по природѣ и *совсѣм иное*, чѣм у тебя, все-же из нашей эпохи, дыханіе жизни той-же, какой и ты дышишь.

Думаю, я тогда был почти влюблен в него. Он завѣдывал в «Курьерѣ» литературным отдѣ-

лом. Поддерживал и опекал меня, печатал и Ремизова, тоже только-что начинавшаго. Дѣлал все это не без сопротивленія в самой редакціи. Но Фейгин прикрывал. Ему и Андреев нравился.

Лѣтом 1901 года появилась первая моя вещица в «Курьерѣ», написанная в «новой» тогда манерѣ. За ней и другія. В 1902-же году разсказ «Волки» открыл дорогу и дальше — его перепечатали в альманахѣ кружка «Среда» и меня самого туда приняли.

«Среда» был кружок писателей реалистов (в противность появившимся уже символистам). Писатели туда входили немолодые, серьезные и очень московской закваски. Собирались по очереди у Андреева, Телешова, Сергѣя Глаголя — каждую среду. Читали новыя свои вещи, а потом обсужденіе и ужин — с водкой, закусками, всякою вкуснотой. Дух привѣтливый, мягкій. О прочитанном говорили и разбирали, но дружески и благосклонно. Больше всѣх читал Леонид Андреев. Он и я, да еще Сергѣй Глаголь (врач и художественный критик) представляли лѣвое крыло, «модернистическое». Бывал иногда Горькій, очень рѣдко Чехов — проѣздом через Москву. Так-же случайно Короленко, Куприн, Елпатьевскій. А обычные — Андреев, Ив. Бунин, его брат Юлій, Вересаев, Телешов, Тимковскій, Бѣлоусов, Махалов, Гославскій — настолько ушедшее, plusquamperfectum, что теперь почти всѣ имена эти ничего не говорят, да и из людей «Среды» жив в Москвѣ один Телешов, а здѣсь Бунин да я.

Легендарными кажутся сейчас эти московскія сборища с благодушными разглагольствованіями,

ужинами, шуточками, острословіем. Встрѣчаясь цѣловались — не от особенной любви, а тоже больше от московскаго благорастворенія воздухов. Давали клички друг другу по названіям московских улиц. Юлій Бунин — Старогазетный переулок, Телешов — угол Денежнаго и Большой Лѣнивки, Гольцев (редактор «Русской Мысли») — Бабій городок, Андреев — Новопроэктированный (переулок). — Общій-же тон был очень порядочный и покойный — нѣсколько провинціальный, конечно, особенно если сравнивать с Петербургом.

Сергѣй Глаголь жил в Хамовниках. Выходя от него мы нерѣдко проходили гурьбой, зимней московской ночью со звѣздами, мимо дома Толстого. Забор, калитка, в глубинѣ особняк, не особенно складный, всетаки основательный, темно-бураго цвѣта (обшит крашеным тесом). Собственно, помѣщичья усадьба средне-высшей руки. Но это Синай.

Толстой не бывал у нас никогда, а если-бы появился, то я, напримѣр — и так в тѣ времена робкій — вѣроятно, окаменѣл бы от ужаса. Но он не появлялся, и хотя мы жили в одном городѣ, я никогда его не видал, даже на улицѣ.

Гославскій был старик с серебряною головой, очень живописный Бог-Саваоѳ. Но по части литературной слабо. Все ушло в поэтическую внѣшность. Кажется, это его мучило. За ужином он выпивал основательно и потом, по дорогѣ, впадал в возбужденіе. Вспомнился он потому, что как раз у дома Толстого, как раз морозною ночью, когда всѣ мы подымали мерлушковые воротники пальто, он однажды на-

бросился на меня — как выпившій — ни с того ни с сего. Это нерѣдко с ним случалось. Или брань, или восторг. Сегодня брань, и выпала моя очередь.

— Ты думаешь, что по новому пишешь, так сразу в генералы выскочишь, как Леонид? Нѣт, шалишь, ты с наше поработай! Вон, гляди... Лев Толстой... этот писал не то что ты... или Леонид...

Слова были бурныя, а как-то не задѣвали. При всем самолюбіи юношеском просто я тут смѣялся. А он поругал, поругал, да и успокоился. Все это привычное. Нынче ругает, завтра обнимать будет. Смиренный Бѣлоусов усадил его на извозчика и увез. Толстовскій-же дом помалкивал, там за семью замками сидѣл другой — суровый, великій старик.

Я писал тогда в импрессіонистском родѣ, так, как теперь самому мнѣ не очень близко, но во всяком случаѣ по иному чѣм Гославскій. Очень мрачныя вещицы чередовались со свѣтло-восторженными. Сергѣй Глаголь, высокій, изящный, с худощавым пріятным лицом, весьма ко мнѣ благоволившій и много мнѣ добра дѣлавшій, говорил иногда, заправляя назад прядь сѣдых, длинных волос:

— Зайчик, мнѣ твои сладости не нужны. Ты мнѣ напиши с жутью, знаешь, как Леонид. С жутью.

Милый Сергѣй Сергѣич любил «жуть».

Такое было повѣтріе. И Леонид весьма способствовал жути этой. На наших средах читал и «Бездну», и «Красный смѣх», и «Василія Фивейскаго». Все равно, он для меня навсегда остался живым, острым, зажигательным.

**
*

Что-то уже готовилось тогда, назрѣвало. Всѣ были задѣты революціонностью, одни больше, другіе меньше (я совсѣм «меньше»). Всетаки, в моей собственной квартирѣ бывали явки соціал-демократов. Идешь по Арбату, навстрѣчу тип в синей косовороткѣ и мятой шляпѣ: к тебѣ-же, и у твоей-же жены в диванѣ спрятаны шрифты, если не сказать еще бомбочки.

То-же самое и у Леонида Андреева, но в большем размѣрѣ. Он и жил шире, у него больше бывало извѣстных людей, адвокаты, писатели.

Помню на его вечерах Горькаго, Шаляпина. Горькій ввел моду писателям одѣваться под мастерового, в блузах, поддевках. Не всѣ слѣдовали, Чехов всегда ходил в пиджачкѣ, Бунин тоже, но Скиталец, Андреев....

К Горькому я всегда был несправедлив, да и сейчас не могу с собой совладать:плоское лицо, скуластое, вздернутый нос, небольшіе глаза... Вот подходит к нему курсистка:

— Алексѣй Максимович, каков ваш взгляд на Ницше?

— Ницше? (покручивает небольшіе усы. Другая рука за ременным пояском блузы).

— Карманный тигр.

Шаляпин тоже в поддевкѣ. Вокруг него дамы. Тот-же волжско-бурлацкій стиль при рѣдкостном дарованіи. Нѣт, Чехов среди них одиночка. Впрочем, у Андреева и не бывал.

А кишѣли еще адвокаты. Леонид сам принадлежал к молодой «лѣвой» адвокатурѣ. И вот

сотоварищи его тоже на этих вечерах упражнялись. Адвокаты, адвокаты! «Я не буду спускаться в банальныя низины психіатрической экспертизы...» — впрочем, что говорить: почти всѣ они, тогдашніе молодые и лѣвые, позже погибли от революціи. Не подымается теперь на них рука. Упокой, Господи, их души.

А Горькій? Буревѣстник? Друг Ильича? Можно-ли было *тогда* думать, что революція, которой он так жаждал, ему-же и поднесет кубок с отравой?

Подготовка-же все шла. Банкет в «Эрмитажѣ» по случаю 40-лѣтія Судебных Уставов. Отличные Уставы, гордость наша, но до чего-же тоска была слушать честных стариков из «Русских Вѣдомостей»... Всѣ «на посту», многозначительно разглаживают бороды, всѣ в упоеніи от себя и увѣрены, что вполнѣ могут спасти Россію от «надвигающейся черной реакціи». Потому что знают, гдѣ «огоньки», гдѣ «факелы в безпросвѣтной мглѣ окружающаго». Будьте покойны, приведут куда надо.

Колонный зал «Эрмитажа», триста интеллигентов, осетринка американ, сбившіеся с ног «человѣки» в бѣлых рубахах и штанах... — нѣт, отсюда уж лучше улизнуть в Литературный Кружок.

Кружок этот, а вѣрнѣе Клуб, конечно, часть исторіи литературной и культурной Москвы того времени.

Первые его (героическіе) годы — скромное помѣщеніе в Козицком переулкѣ близ Тверской. Толстолицый психіатр Баженов в жакетѣ, с цвѣточком в петлицѣ, рыжеватый Бальмонт с

острой бородкой, чтенія об Оскарѣ Уайльдѣ, гимназист с гривой волос вниз на лоб, возглашающій сверху, с эстрады: «Окунемся в освѣжающія волны разврата!» — юныя дамы, зубные врачи, декаденты, поэты, художники...

Позже Дмитровка, дом Вострякова. Тут много просторнѣе и богаче... Зал на шестьсот слушателей, наверху ресторан, гдѣ-то в боковых помѣщеніях игорныя залы. За круглым большим столом «матеріальная основа цивилизаціи»: игроки — карточной игрой и питался Кружок денежно. (Позднею ночью, среди разных других, в залѣ с блѣдною живописью-модерн можно было видѣть сражающихся за зеленым сукном Достоевскаго и Толстого: сыновей).

Но пройти слегка в сторону — тихіе корридоры в коврах, читальня, библіотека в двадцать тысяч томов. В большом зрительном залѣ по вторникам чтенія, диспуты. Кто-кто только ни выступал! Кто с кѣм ни спорил, ни состязался из московских и петербургских, с именами крупнѣйшими, как Бальмонт, Мережковскій, Брюсов, до меньших типа Волошина — всѣх не переберешь, во всяком случаѣ это была нѣкая каѳедра литературная предреволюціонных лѣт. Сколько бурь, споров, ссор, примиреній, сколько ночей наверху в ресторанѣ... — это молодость моя, уже опредѣлившаяся, уже литературная и болѣе легкая.

**
*

Послѣднее десятилѣтіе перед войной считается временем «мрачной реакціи» — это по взгляду революціонных партій. Им, дѣйстви-

тельно, приходилось туго. А Россія, несмотря на явно неудачное правительство и вымираніе ведущаго слоя, росла бурно и пышно (тая все-же в себѣ отраву) — росла и в промышленности, земледѣліи, и торговлѣ, народном образованіи. Все это на наших глазах, хотя тогда, по безпечности наших юных лѣт, мало мы этим занимались.

Занимались-же литературой. Тут двух мнѣній быть не может: расцвѣт существовал. Нравилось это или не нравилось, но литература, поэзія (в особенности), религіозно-философское кипѣніе — все это находилось в бурном и обильном подъемѣ. Возникали «теченія», возникали писатели, поэты, издательства. Напряженіе было большое и творческое.

Нѣкоторые называли даже начало вѣка русским «ренессансом». Преувеличенно, и не нес ренессанс этот в корнях своих здоровья — напротив, зерно болѣзни. Всетаки, в своем родѣ полоса замѣчательная.

В 1906 г., осенью, возникло в Петербургѣ новое издательство «Шиповник» — его основали молодой художник З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман. Первою-же книжкой «Шиповника» оказались как раз мои «Разсказы»: с этого началось знакомство, а потом и долгія дружественныя отношенія мои с «шиповниками».

Стали они выпускать альманахи (тоже «Шиповник») — с большим успѣхом.

Теперь приходилось нерѣдко бывать в Петербургѣ: я был постоянным сотрудником, одно время даже редактировал эти альманахи.

Литературный, а позже и театральный Петербург предстоял теперь предо мной. Все было интересно, кипуче, новыя встрѣчи, люди, знакомства. Писатели, художники «Міра Искуства», поэты. Мы останавливались с женой у Г. И. Чулкова, друга нашего, «мистическаго анархиста». Бывали у Гржебиных, у Андреева (переѣхавшаго сюда), Сологуба и Блока, Вячеслава Иванова. На обѣдах у Гессена знатные кадеты разсуждали о политикѣ. В ресторанѣ «Вѣна» литературная богема кишѣла, рангом попроще, но тоже модная.

«Честных», «идейных» — типа народников из «Русскаго Богатства» — я тогда в Петербургѣ не встрѣчал: Михайловскій скончался, Короленко тихо доцвѣтал в Полтавѣ, и не они были в модѣ. Нас влекло к болѣе молодому — видѣть пришлось многое: и перворазрядных как Блок, Вяч. Иванов, Сологуб, и второй сорт, и третій.

Рестораны, собранія, редакціи, рукописи... — сказать, что жизнь не наполнена, не остра, было-б невѣрно.

От Блока осталось по Петербургу ощущеніе юноши-поэта, вот уж именно *поэта*, в романтической домашней блузѣ с бѣлым отложным воротничком — неподвижное, нѣсколько каменное лицо, правильная кудреватость, прохладные глаза. Очень изящен, очень. Изяществом нравился, а подспуднаго его тлѣна по молодости лѣт (собственной) как-то не замѣчал. Сказать тогда, что он напишет «Двѣнадцать» и сам задохнется в них... — никогда бы не сказал. Ну что-же, Россія (и литература ея) и неслась вперед и было в ней нѣчто уже обреченное. На самых верхах

культуры ея Блок, может быть, выражал уже роковую трещину (как выражал ее и Леонид Андреев, но простодушнѣй и провинціальнѣй: а всетаки они друг к другу тяготѣли, что-то у них было общее).

Во всяком случаѣ Блока вспоминаю со щемящею грустью...

У Сологуба бывали мы на Васильевском Островѣ, гдѣ-то в линіях. Старый дом, старомодная квартира при Городском училищѣ, уѣздная обстановка, чуть-ли не фикусы и герани, лампадки у образов — это не он, а сестра его, тихое и безотвѣтное существо. Среди всего этого хозяин: лысый, в пенснэ, умная и спокойная голова с какими-то діаболическими устремленіями, но по виду безстрастный и тусклый. И сам, и в квартирѣ все точно в паутинѣ. Но гостей принимал привѣтливо. Усаживал, угощал. «Кушайте, господа, пожалуйста кушайте» — довольно-таки ледяным тоном. А за обѣденным столом Мережковскій, Гиппіус, полная и цвѣтущая Тэффи, Чулков, разные молодые писатели. Разгуливает среди них как бы спокойный демон с блестящею лысиной, в пенснэ, с бородавкою на лицѣ... — стихи его замѣчательны! И конец жизни, уже в революцію, мучительно-горестный... Кажется, мало что и осталось от «демонизма» Васильевскаго Острова: сужу по его стихам предсмертным.

Да, это все на нашу «Середу» в Москвѣ непохоже.

Может быть самый большой слѣд, «учительный», оставил тогда Вячеслав Иванов — у него собирались по средам, это называлось «на

башнѣ» — он высоко жил (как и высоко мыслил), гдѣ-то в поднебесьи. На среды его набивалась уйма народа. Тут в памяти остаются Городецкій — высокій молодой лось, очень даровитый (а потом быстро сошедшій), и Кузмин, с голым черепом, зачесанными височками: талантливый, путаный человѣк, смѣсь александрійских пѣсенок и русской болѣзненности, поэт, музыкант немножко, в гостиной Вячеслава Иванова напѣвавшій за піанино, себѣ аккомпанируя, свои причуды.

Вячеслава Иванова изнутри узнать трудно, я и не берусь. Но что этот высокій и нѣсколько медогласный человѣк с наружностію типа Тютчева был интереснѣйшим из всѣх извѣстных мнѣ собесѣдников — несомнѣнно. Он странно жил. Вставал в шесть вечера, ночь-же всю бодрствовал, ложился, когда люди выходили на работу. Иногда звал меня к себѣ отдѣльно, уводил в кабинет, заставлял читать страницу прозы (моей), разговаривал, разбирал... — разгорался, и бесѣда его заводила на такія высоты, что сейчас, вспоминая, просто удивляешься, как и когда это происходило: будто в другом мірѣ.

Был он представителем особенным, культурой даже перегруженным, довоенной Россіи в литературѣ: поэт, ученый, утонченнѣйшій стилист и провозвѣстник не индивидуализма самозаключеннаго, а «органической эпохи», «соборности» — вот о чем мечтал, живя в Россіи, несшейся неудержимо к такой соборности, от которой сам он в нѣкій срок на всѣх парусах выплыл в Италію. Два года назад я навсегда попрощался с ним в Римѣ, и опять, как в моло-

дости, но теперь уже в послѣдній раз, пахнуло на меня великой русской культурой мирных времен.

**
*

В нижних этажах писательства Арцыбашевы, Каменскіе открывали «новые подходы» к вѣковѣчному. Вопросы пола разрѣшались в ресторанѣ «Вѣна», разрѣшители искренно считали себя пророками. Гимназисты, гимназистки провинціальные усиленно вербовались в «огарки». Осуществляли завѣты пророков. Иногда погибали во меракѣ и отчаяніи — и все это были знаки, невидимая рука писала уже на стѣнѣ роковыя слова (погибающих эпох).

А мы жили, писали кто как мог. — Очень, очень немногіе чувствовали, куда идет дѣло. (Среди них Блок. В дневниках его, того времени, много предчувствій...)

Вспоминая теперь эту полосу, перед войной, видишь ее в другом свѣтѣ.

И яснѣе становится, куда вело это все. Но тогда общая распущенность, беззаботность, прямо даже дѣтскость казались естественными. Мы были молоды, в Москвѣ и деревнѣ жили всетаки здоровѣе, чѣм петербургскіе люди — освѣжал воздух полей тульских, каширских, освѣжала Италія, куда, как в страну обѣтованную неудержимо влекло, и откуда всегда возвращались напоенные красотой и поэзіей. Да, великой цѣлительницей и утѣшительницей для нѣкоторых из нас была Италія, и возможно, если и сохранилось в дальнѣйшем душевное равновѣсіе и спо-

койствіе, то не малая тут доля вѣянія самого латинскаго, прозрачнѣйшаго воздуха ея.

«Умбрских гор синѣющій кристалл»... — слова того-же Вячеслава Иванова.

А к концу мирной полосы и началу катастроф нѣкое томленіе и безпокойство достигло предѣла. Помню это по себѣ, по окружающему. Неосознанное, но присутствовало. Не то, чтобы мы предвидѣли. Ни о каких міровых потрясеніях и русских катастрофах не думали, но тоска была. Вспоминая то время удивляешься младенчеству своему политическому, удивляет односторонность, сосредоточенность на себѣ (незнаніе народа, книжность, одинокая утонченность — грѣх нашей художнической молодости. Вячеслав Иванов мог говорить о «соборности» сколько угодно, все-же квартира его, «башня» петербургская была воистину une tour d'ivoire).

Помню весну 1914 года. Я жил у себя в деревнѣ, в нервно-болѣзненном напряженіи, запершись во флигелѣ, докуриваясь до таких сердцебіеній, что казалось — пришел мой послѣдній час. Писал пьесу, необычайно мрачную и казавшуюся замѣчательной. Писал по ночам, в подъемѣ, все как полагается... А получилось нѣчто мучительно-безводное, не плодоносное. Смута была в душѣ, и в моей жизни — страшные предгрозовые мѣсяцы. Литературно находился я в то время в тупикѣ: ранняя манера (импрессіонизма) изжита, тургеневско-чеховская линія повтореніе пройденнаго. А сил много, жизнь не кончается еще, может быть только вступает в настоящее...

Тучи мы не замѣтили, хоть безсознательно

и ощущали тягость. Барометр стоял низко. Утомленіе, распущенность и маловѣріе как на верхах, так и в средней интеллигенціи — народ-же «безмолвствовал», а разрушительное в нем копилось.

Матеріально Россія неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятенія и унынія овладѣвал.

Не напрасно являлись Андреевы, Блоки. Сколько горечи в дневниках Блока этого времени! А в каком сумракѣ был Андреев... — про это уж и говорить нечего. Томленіе их непритворно и искренно. Самими собой обнаруживали они внутренній мрак и опустошенность Россіи. Арцыбашевы, Каменскіе, огарки, танго, вдруг так процвѣтшее по столицам, безконечныя кабарэ, темные притоны, Маяковскіе и футуристы, в финансовом мірѣ полный разгул дѣлечества, спекуляціи, все растущій раздор между властью и народом — хоть неточно, а всетаки в Думѣ представленным...

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж значит достаточно набралось грѣхов. Революція — всегда расплата. Прежнюю Россію упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какіе мы были граждане, какіе сыны Родины?

Во всяком случаѣ — слава Богу, хоть поздно, за громовыми ударами, да как будто очнулись, проснулись. Катастрофы и потрясли, а зато через них лучше засіяла лазурь. Кровь, сколько крови! Но и лазурь чище. Если мы до всего этого смутно лишь тосковали, и *навѣрно* не знали, гдѣ она, лазурь эта, то теперь, по-

трясенные, и какіе-бы грѣшные ни были, яснѣй, без унылой этой мглы видим, что всего выше: не только малых наших дѣл, но вообще жизни, самого міра... В сущности, произошло то, что всегда происходило, от вѣка. Господь поражает слѣпительными молніями заблудших — и в смерть, и в воскресеніе.

Но тогда, но тогда — можно-ли было думать, что разсѣет Он нас, как сѣятель сѣмя, по всему міру?

Вот и разсѣял. И ничего, пережив, претерпѣв, мы живем по чужим странам, жизнію никак не героической, все-же как можем, продолжаем свое.

То оцѣпенѣніе литературное, которое на меня тогда нашло, тоже миновало. Революція странное дѣйствіе оказала на мое писаніе: сперва рѣзко отвела от тургеневско-чеховскаго, вновь в сторону лиризма и импрессіонизма (с другим содержаніем. И одновременно — отход к общечеловѣческому и Западу). А затѣм, в эмиграціи, дала созерцать издали Россію, вначалѣ трагическую, революціонную, потом болѣе ясную и покойную — давнюю, теперь легендарную Россію моего дѣтства и юности. А еще далѣе вглубь времен — Россію «Святой Руси», которую без страданій революціи может быть не увидѣл-бы и никогда.

Тѣ-же писанія мои, которыя помѣщены тут, за этим введеніем, рождены Россіей трагической. Это часть и моего жизненнаго пути. Россія терзающая и терзаемая. Был-бы жив милый Сергѣй Глаголь, может быть, и остался-бы дово-

лен. («Ты мнѣ дай с жутью»...) Этого, кажется, здѣсь достаточно, «акварели» никак не найдешь.

Разное в пути видишь, райскими долинами иногда проходишь, но и адскими. Разное замѣчаешь и на разное отзываешься, как и в самом тебѣ не один только цвѣт.

СТРАННОЕ
ПУТЕШЕСТВІЕ

1

В сыром мартовском днѣ дымно синѣли лѣса за Окой. Сзади остались сады, купола города. Дорога шла шоколадною лентою, иногда лошадь шлепала в ней и по лужам, иногда попадались с боков небольшія озера — сверх льда. Вот будет тут половодье! Вдалекѣ монастырь глянул прощально.

В лѣсу сразу стало сумрачнѣе, суровѣй. Проѣхали лѣсопилку, дорога чуть в гору, разъѣзженная, розвальни ползут глубокою колеей и кренят. Бурый меринок Панкрата Ильича, патлатый и шершавый, бодро мѣсит снѣг. Огромная кобыла Христофорова и Вани выступает важно, поколыхивая сѣрым задом.

— Ну, что, Ваня, как дѣла?

Ваня повернул юное лицо в ушастой шапкѣ. Каріе, спокойные и умные глаза, слегка исподлобья, обратились на Христофорова.

— Ничего, Алексѣй Иваныч. Доѣдем.

Христофоров полузакрыл вѣки и плотнѣе запахнулся в шубу. Мягкій, слегка влажный от дыханія енот так сонно и привычно пахнул! «Ничего, доѣдем» — он сквозь полудремоту улыбнулся. «Крѣпкій мальчик, коренастый, зря не скажет».

Христофоров сидѣл в розвальнях на мѣшках с сѣном, Ваня ниже, боком на облучкѣ, а в ногах под дерюжкою крупа, сало, окорок: в Москву на обмѣн. Ваня кончает реальное, живет у отца, в небольшом, теплом домикѣ над Окой, с садом, яблонями и сливами. Невысокій, слегка сутулый, с вишнями в глазах, нѣжным румянцем — леонардовскій юноша из подмосковных мѣщан. Христофорова занесло сюда года два назад послѣ долгих, обычных в его жизни скитаній. В городѣ он давал уроки, помогал на площадкѣ, раз прочел лекцію о литературѣ. За ученіе Вани получал и мукой, и пшеном, иногда сахаром. Все такой-же был Христофоров, как в дальніе, мирные годы; только бородка сѣдѣе, усы ниже свисают, да рѣже ширятся, словно-бы магнетически — голубые, нѣкогда нѣжные к нѣжным московским дѣвицам глаза.

Лѣсом ѣхали долго. Казалось, конца ему нѣт, и все кренят розвальни, бок устает, дебрь кругом, подсѣд еловый, сумрак... Наконец, за лощиною, поднялись круто в горку — выбрались на шоссе. Гудит проволока, тянется полотно желѣзнодорожное, перелѣски, поля, сырой мартовскій вѣтер, но к закату чуть прояснило. Вдали, над лѣсами, откуда пріѣхали, и над городом, ставшим вдруг страшно далеким, забрежжило мѣдное облако. От него лег на дорогу смутный и безпокойный отсвѣт.

Панкрат Ильич соскочил со своих розвальней. Крѣпким, нѣсколько развалистым шагом подошел к Ванѣ и Христофорову.

— Отсидѣл ногу. Прямо чужая, анаѳема...

Он зажег спичку за вѣтром, спрятал огонек

в лодкѣ ладоней, и держа цыгарку в зубах, наклонился головою вперед. Освѣтились свѣтлые усы, курчавая бородка, глаза небольшiе, сѣро-выпуклые, загорѣлыя щеки. Втянул в себя с наслажденiем. Пыхнул — красно зардѣлась на вѣтру крученка.

— Опоздали, безо всяких... Ишь мокреть какую развело? Как-же мы домой-то доберемся? А?

Он сплюнул.

— На шоссе горб обсох, слышь, по землѣ чирябает, мерин весь в дыму. Эх ты, ѣдят тебя мухи с комарями.

Панкрат Ильич шел рядом, ѣдко курил, сладко ругался, было видно, что ругаться ему нужно: так, избыток сил. И от всего его тулупа, валенок на кожаных подошвах, вкусной на вѣтру цыгарки, брани, становилось веселѣе. Он стегал иногда сѣрую кобылу — не по злости, а тоже для поощренiя. Вечер-же надвигался. Все смутнѣй, сумрачнѣе, одиноче в талом полѣ. Но когда совсѣм стемнѣло, дрогнули огоньки в деревнѣ. Панкрат Ильич сѣл в свои розвальни, тронул рысью, через четверть часа ѣхали уже длинною слободою, через которую шло шоссе, спрашивали баб на крылечках:

— Эй, тетка, пустишь, что-ли, ночевать?

II

С одного крыльца, из темноты, отвѣтили:

— Заворачивайте.

Сумрачно отдѣлилась женская фигура, зашлепала к воротам. Они заскрипѣли. Панкрат

Ильич с Ваней тронули лошадей во двор. Христофоров слѣз, путаясь в стареньком своем енотѣ, и слегка придерживая полы шубы, вошел в сѣни.

— В Москву, что-ли? спросил женскій голос, и рука отворила дверь из сѣней в самую избу.

— В Москву.

Изба была опрятнѣе и больше тульских и калужских, в общем то-же, все обычное, знакомое. Лучины, впрочем, Христофоров не видал давно. Теперь она горѣла чисто, жарко, в желѣзном кольцѣ, и таракан суетливо бѣжал под нею. Но какая-то пустынность, словно нежилое вдруг почувствовалось. Христофоров вспомнил, что такое-же ощущеніе было и на улицѣ: будто полусонная деревня, и полупустая. Баба оказалась сѣрая, немолодая и худая. Дѣвочка выглядывала с печки. Что-то одинокое и скорбное невидимо разлито в воздухѣ.

— В Москву, значит, на лошадях... вздохнула баба. — Дѣла-а! Хлѣбушка не разживемся у вас? Хоть по корочкѣ, с Рожества оконятник жрем.

Она взяла со стола кусок зеленоватой мастики — Христофоров хорошо знал этот знаменитый фрукт — горсточка муки, заваренная на сушеном конском щавелѣ.

Отворилась дверь, Ваня вошел.

— Хозяйка, покажи-ка нам, гдѣ лошадей поставить. Да получше-бы ворота запереть, а то вѣдь знаешь, времена какія...

Ваня смотрѣл спокойно, исподлобья, леонардовскими своими глазами, и не снял ушастой шапки.

— Ваня, я могу помочь вам, сказал Христофоров. — Отпречь лошадей, например...

Ваня на него взглянул, чуть улыбнулся.

— Нѣт уж, Алексѣй Иваныч, вас не надо. Сами справимся.

И с такою дѣловитостью, на своих коротковатых ногах вышел с бабою, что Христофорову только осталось сѣсть на лавку да глядѣть на таракана, на лучину, все попрежнему потрескивавшую, на кудлатую головку дѣвочки. «Ему восемнадцать лѣт, мнѣ за сорок, и я его учитель, но он смотрит на меня, как на ребенка» — голубые глаза Христофорова расширились, и гипнотически уставились на проходившаго мягко по лавкѣ кота. Кот вытянул хвост, изогнулся, поблескивая электрическою шерсткой, тоже воззрился на Христофорова круглыми, зеленоватыми зрачками. А потом ушел, пофыркивая, чѣм-то недовольный.

Панкрат Ильич и Ваня скоро возвратились. И начался ужин в чужом домѣ, на изгрызанном столѣ, в душноватом сумракѣ полупустой избы.

Бабѣ с дѣвочкой дали по ломтику сала и хлѣба. Онѣ жевали безсмысленно-сладостно. Панкрат Ильич ѣл много и серьезно, разгорѣлся, раза два икнул. Потом раскинул свой тулуп, угрюмо улегся на лавкѣ.

— Как ворочаться будем... как доѣдем... — зѣвнул. — Царица Небесная... Тетка, что слыхать под Москвой... отбирают шибко?

Баба запѣла с печки.

— Уж как отбирают, милые мои, уж надысь бабочки говорили, прямо всѣ — их обчищають..

— Экая стерва... Значить, настоящая стерва.

Он шумно выпустил из груди воздух. Лучина давно догорѣла, и огрызок ея с шипѣніем упал в таз с водою. Темнота избы — послѣднее, что получила человѣческаго — слова Панкрата Ильича, не очень утѣшительныя. А потом и он замолк. Лишь бурно закипѣла его грудь.

Христофоров лежал на спинѣ, на своей вытертой шубѣ. То-ли было душно, новое-ли мѣсто, только не спалось. Из окошка, рядом, лег свѣт луны, золотистой пеленой охватив нѣжныя ворсинки мѣха. Онѣ заиграли в нем радужными оттѣнками. Все тот-же кот, безшумно, тайным татем, прошел у стѣны по лавкѣ, и войдя в полосу луны, вдруг остановился, выщербил свою спину, повернул к окну круглую морду и безсмысленно, но и безвольно заглядѣлся. Его мягкая шерстка затеплилась сухим блеском... Христофоров лежал неподвижно, почти не дышал — не хотѣлось сгонять мгновеннаго очарованья. Пусть-бы всегда вот так кот стоял, играла луна, и мѣх зыблился, и в этом обольщеніи, как в позлащенной раковинѣ все бы вот смотрѣть, и жить...

Лунное полотно переползло далѣе. Кот ушел, открылся новый мір. Полотно накрыло голову Вани на угловой лавкѣ, и взор Христофорова, как взор кота, безвольно, с нѣжностью уставился на нѣжный юношескій очерк, на румянец, на закрытые, так знакомо-каріе глаза.

Христофоров поднялся, встал, медленно шаркая валенками вышел в сѣни. А потом отворил дверь на крылечко, сѣл. Он был взволнован и растроган. Сейчас, позднею, безнадежной ночью, над умершею деревней дышал свѣ-

жим и пустынным воздухом. Пѣтухи сонно и печально прокричали.

Залитая лунным свѣтом, улица тянулась вдаль, кое-гдѣ бѣлѣли в ней пятна нерастаявшаго снѣга и чернѣли тѣни изб.

— Всѣ очарованія прошлаго ушли, но они были, были...

И если-б Христофоров захотѣл, из тайнаго былого, силою луннаго воображенія он легко, послушно вызвал-бы видѣнія своих развѣянных любвей, всю смутно расточавшуюся нѣжность, всѣ легкія, незавершенныя, и навсегда ушедшія свои волненья.

Но освѣжившись ночным воздухом, он возвратился. Проходя мимо Вани, поправил его руку, чуть пригладил растрепавшіеся волосы и укрыл плечо тулупом. Ваня бормотал сквозь сон. Христофоров снова лег.

III

Выѣхали на другой день очень рано — Панкрат Ильич хотѣл захватить морозца. Было совсѣм пасмурно, когда Ваня отворил ворота и двое розвальней, одни за другими, выѣхали на середину слободы. Христофоров забрался с ногами, кутался в шубу. Ваня и Панкрат Ильич шагали рядом. Холодный туман над всѣм висѣл. Холодное его безмолвіе еще сильнѣй открылось за деревней, когда пошли поля, тонувшія в молочной гущѣ, а перед глазами только горб шоссе, кое-гдѣ с обтаявшей землей, мерзлым навозом, кое-гдѣ с тонким, пузырящимся

ледком. По нем скользит, прочеркивая снѣжную полоску, подкова лошади.

Ѣхали долго, все подъем, прямой и ровный. Ни пѣтуха, и ни собаки, ни навстрѣчу никого. Стало свѣтлѣе. Неожиданно сбоку выступил корпус фабрики. Отворены ворота, ни души. Окна повыбиты. Безмолвная труба, и на одном углу обнажены стропила.

Панкрат указал кнутовищем.

— Пролетаріат празднует. Кажный день воскресенье. Видите как крышу объѣдают? Это все у них на продажу, кровельное-то желѣзо. Все сообразят... Тут цѣльная деревня этим живет.

Он подошел вплотную к Христофорову. Глаза его вдруг свирѣпо загорѣлись. — Я-б этих сукиных дѣтей, доведись мнѣ...

Панкрат Ильич был хуторянин, верст за десять от города Вани и Христофорова. Землю у него общество отобрало, но он жил, все-таки, своим домком и жил неплохо, по сравненію с другими. Спекулировал чѣм мог, иногда, как теперь, ѣздил в Москву, и сейчас под сѣном своих розвальней кое-что вез. Только бы провезти! И весь его тулуп, курчавая бородка, небольшіе глазки, крѣпкія валенки на кожаных подошвах — выражали одно: ну, итти, дѣлать, взялся, так уж сдѣлать — и сдержанное волненіе было в нем.

— Алексѣй Иваныч! — вдруг вскрикнул Ваня, остановив сѣрую кобылу. — Поглядите-ка, что!

И он вылѣз из розвальней, подбѣжал к краю дороги. Христофоров с усиліем разогнул затек-

шія ноги, перевалился через облучек, и поддерживая полы шубы, подошел тоже. В слегка разошедшемся туманѣ, на начавшем отсырѣвать шоссе ржаво расползалась красноватая лужица. Кой-гдѣ были в ней сгустки, прожилки. По сторонам нѣсколько брызг.

— Нехорошо, сказал Ваня. Рѣсницы карих его глаз слегка вздрогнули. И поослаб румянец на щеках. Панкрат Ильич потрогал кнутовищем темно-бурую печенку.

— Я-б живой не дался!

А потом обернулся к Христофорову и запустил руку в карман.

— У меня для таких есть гостинец — и вынул небольшой револьвер. — Без этого теперь нельзя.

Сумрачно запахнув тулуп, догнал свои розвальни, рухнул в них, хлестанул мерина и погнал его рысью. Ваня попрежнему сидѣл на облучкѣ, серьезный и спокойный, в своей ушастой шапкѣ. Послѣ долгаго молчанія сказал:

— А это хорошо, что у него оружіе...

— А вы как, Ваня, скажете, вам жутко?

— Ну, ничего, мало-ли, со всяким может быть. Нѣт, чего-ж бояться... Разумѣется, запаздывать не надо.

«Вот он всегда уравновѣшен и покоен». Христофоров слегка про себя улыбнулся, и как нерѣдко с ним бывало, точно бы отдался увѣренности, серьезности сидѣвшаго рядом юноши. Да, это другой народ, другое племя! «Нынче Ваня у меня учится, завтра станет инструктором физической культуры, послѣзавтра красноармейцем и купцом». Христофорова это не огор-

чало, скорѣе радовало. Было пріятно, что молодой и увѣренный в себѣ юноша, так непохожій на комсомольца — всетаки ученик его, и друг, почтительный и внимательный. Ваня всегда осторожно и твердо подчеркивал именно уваженіе к Христофорову умственное. Было это и в том, как он слушал его — уроки-ли, лекціи-ль? — как говорил о нем. Но всегда Христофорову чувствовалось, что до конца перед ним Ваня не выскажется. И это ему тоже нравилось.

Между тѣм становилось теплѣй и свѣтлѣе. Давно разошелся туман. Солнце, правда, не выглянуло, но легкій, сизо-сиреневый свѣт все-же лег по полям, еще снѣжным, в проталинах, по блѣдным, чуть тронутым весною рощам, засинѣвшим лѣсам. Ѣхали той частью подмосковья, гдѣ много небольших березовых лѣсов и перелѣсков, хорошо воздѣланных полей, уютных деревень, сельских церквей.

Христофоров снял шубу и в одном пальто шагал рядом с розвальнями.

Родина засвѣтилась ему давно невиданной теплотою, прелестью. «Боже мой, есть еще весна, будут ручейки, первые лютики в лѣсу, хорканье вальдшнепа на зарѣ...» Он вздохнул.

А дорога вновь уже шла под гору, к селу. Проѣхали мимо большого парка, в глубинѣ котораго розовѣл господскій дом — к нему вела аллея елочек. На другой сторонѣ дороги, на отлетѣ, церковь в рощицѣ. В селѣ Панкрат Ильич выбрал чайную с синей вывѣской, и подъѣхал к комягѣ, гдѣ нѣсколько лошадей с распущенными хомутами, в розвальнях и пошевнях, жевали сѣно.

Вылѣзая, Христофоров сказал Ванѣ:

— Нынче воскресенье, не зайти-ль нам в церковь?

Ваня улыбнулся карими своими глазами.

— Идите, Алексѣй Иваныч, я шубу лучше постерегу, да кобылѣ корму задам.

Солнце совсѣм привѣтливо выглянуло из за облаков. Явно зачернѣли откосы в селѣ, ручей побѣжал, текучая голубизна задрожала над дальней осиновой рощей. Грачи очень развоевались. Христофоров шел, дышал весной, и снова грустно-умиленное наплывало в его душу. Он попал в церковь к Достойной. Медленно перезванивали на колокольнѣ. Бабы и старики, нѣсколько ребят. Дурачек, неизмѣнный при деревенской службѣ, бурно крестил грудь и подрагивая, весь подергиваясь, бил поклоны.

Служил священник очень старый, совершенно лысый, как апостол Павел, тѣм спокойным многолѣтне-выношенным голосом, в котором личное точно теряется. И лишь временами странное как бы всхлипыванье туманило его слова, и глаза увлажнялись. Христофоров сразу вошел в то облегченное и свѣтло-благоговѣйное настроеніе, какое давала ему церковь. Чинные возгласы, ризы, медленный ход кадила и скромно-торжественный отзыв хора вели ровной волною. Иногда набѣгала слеза, и тогда золотой свѣт свѣчей дробился, роился сіяющим ореолом. Да, вот, всѣ, по лицу Руси так-же стоят сейчас перед Господом, и так-же поет хор, и просіявшій голубой столб так-же возносится от солнечнаго пятна на амвонѣ в высоту купола, гдѣ летит таинственно-сладчайшій Голубь.

Вѣроятно, чужому лицо Христофорова, с расширенными синими глазами, вниз свисающими длнными усами, курчавою бородкою, лицо невидящее и отчасти дѣтское показалось-бы нѣсколько полоумным. Но таков уж был он, не другой. Принять его, или над ним смѣяться, дѣло взгляда.

Когда-же он вернулся в чайную, гдѣ Ваня и Панкрат Ильич сидѣли на завалинкѣ, на солнцѣ, и молча курили, Панкрат Ильич сказал, бросая в лужу свой окурок:

— Ну, во время вчера заночевали... Прямо во время.

— А что такое? спросил Христофоров.

—А то, что впереди нас ѣхал мужик курловскій, да запоздал, хотѣл до выселков добраться...

— Ну?

— На дорогѣ лужу позабыли?

— Этого мужика, спокойно сообщил Ваня: нынче привезли сюда убитаго.

IV

Так как дорога портилась, двигались медленно. Вѣсти доходили все плохія — под Москвой сплошь заставы, провезти ничего нельзя. Надо «потрафлять» проселками, лѣсами, на глухія деревушки, может и удастся. И рѣшили ночевать в Дудкинских Двориках, в верстѣ от шоссе, откуда и начать завтра утром объѣзд.

В Дворики добрались засвѣтло. Остановились у портного, пріятеля Панкрата Ильича.

Худой, в очках, жилеткѣ и в калошах на босу ногу, похожій на полуобщипаннаго пѣтуха, он вышел на крылечко своей хаты, приложил руку к глазам, закрываясь от низких лучей солнца.

— А-а, Панкрат Ильич, здравствуй, запѣл он тонким, носовым голосом: куда, миляга? Не в Москву-ль? Али в большевички записываться собрался?

— Насчет большевичков, Антон Прокофьич, я уж подожду, покеда ты прошеніе подашь, да в предсѣдатели выйдешь, а уж мы, значит, за тобой, в затылок... Это-же мои попутчики, люди хорошіе.

Отпрягли лошадей, задали корму, в душной, но довольно чистой и гостепріимной избѣ Антона Прокофьича забурлил самовар на изрѣзанном ножами столикѣ, Христофоров угощал крутыми яйцами, медленно двигалась баба хозяйка, и в маленьких окошечках краснѣл закат.

Спать было еще рано, в избѣ душно. Закусив, Христофоров предложил Ванѣ пройтись.

Золотисто-огненное облачко стояло над осинником, густо забравшим скат к рѣчкѣ. Ваня с Христофоровым прошли мимо амбарчика, взяли с дороги вправо, по обсохшему откосу, и спустились к той лощинѣ, над которой Дворики стояли. Пахло сыростью, непередаваемой лѣсною прелестью. Тропинка привела их к завалившейся ветлѣ. Сзади слегка курились Дворики, виднѣлись избы, погреба, овины. Милый вечер, тихій вечер наступил и замлѣл.

— Ваня, сказал Христофоров, вам должно быть показалось странным, что я повел вас гулять.

— Отчего-же, Алексѣй Иваныч, — в избѣ воздух тяжелый.

— Ну, конечно. Но не одно это. Мнѣ, во-первых, вообще пріятно, когда вы со мною...

Ваня улыбнулся.

— И второе — что вам слушать разговоры, грубыя слова, брань, когда вот есть природа, красота, весна. Давеча вы не захотѣли итти со мною в церковь, и напрасно. Ну, теперь тоже, в своем родѣ, храм, им полюбоваться тоже не мѣшает.

— Что-же вы находите во мнѣ такого интереснаго? спросил Ваня. — Вы вот мнѣ даете книги, и меня учите, разсказываете о других странах, другой жизни, водите с собою на прогулки, а вѣдь я простой мѣщанскій малый, мой отец торговец... Что такого вы во мнѣ замѣтили?

Христофоров сѣл на пенек. Кругом была мелкая поросль: осинник, березняк, ниже, к рѣчкѣ, бѣлѣл еще снѣг в ивнякѣ и ольхах. Ваня прислонился к кучѣ хвороста. Из под него выскользнула узенькая ласка, точно змѣйка, и исчезла. Пахло терпко-горько и очаровательно — свѣже-срубленным деревом. Христофоров вдруг вытянул шею.

— Тс-сс...

Верхи осин за рѣчкой, подымавшихся по взгорью, дымно-розовѣли. А внизу уже ложился сумрак. В тихом воздухѣ с легким дыханіем близкаго снѣга, но с пронзительной горечью весны, раздалось дальнее таинственное хорканье.

И вот, за тонкой сѣткою осин, летя над рѣч-

кою и низиной, появился и сам тайный обитатель этих мѣст. Длинноносый вальдшнеп тянул на зарѣ, насвистывал, нахоркивал вѣчный призыв любви, вѣрное указаніе весны. Налетѣв близко, вдруг увидѣл людей, трепыхнулся, сдѣлал полоборота, и на крѣпких, на упругих крыльях, разрѣзая длинным носом зарумянившійся воздух, полетѣл дальше.

Христофоров засмѣялся.

— Нас увидѣл! Что за зоркій глаз! Я прервал вас, Ваня, потому, что очень люблю э т о, весенній вечер, тягу...

Он достал из старенькаго портсигара на закурку табаку, стал свертывать его в бумажкѣ между пальцев.

— С тягою связано мое дѣтство, дом, усадьба, мать, отец — все то, что ушло невозвратимо. Вот я и взволновался. Что-же до вас... ну, молодость нерѣдко вызывает в нас участіе, сочувствіе... А потом... вы знаете, вѣдь я совсѣм один. Родители мои давно уж умерли, сестра погибла в революцію, женат я не был. Так что я бобыль. И надо думать, во мнѣ есть какое-то семейственное тяготѣніе — вы, например, кажетесь мнѣ вродѣ-бы племянником. И вот в Москву, Бог даст, доѣдем, мнѣ-бы хотѣлось повидать кое кого из прежних... Вѣдь мы, знаете, становимся теперь уж рѣдкостью...

— Да, вы не совсѣм такой... обыкновенный, глухо сказал Ваня.

Христофоров подпер рукой голову.

— Необыкновеннаго во мнѣ ничего нѣт, просто я человѣк, но, правда, мало подходящій к нашим временам. — Он улыбнулся.

— Для чего такой я нужен?

— Однако-же вы учите меня?

— И очень рад, и очень рад... — Христофоров вдруг взял его за руку, как бы взволнованно.

— Вы слушайте меня. Все, что я вам говорю, слушайте. Дурному не научу, а кромѣ меня некого вам слушать. И время трудное, и ваша жизнь длинна.

Закат смутно краснѣл сквозь чащу, и вода журчала. Иногда что-то похрустывало в лѣсу. Христофоров поднял голову к небу. Оно стояло высоко, блѣдно-зеленое, медленно пламенѣя к западу, и холодно-лиловое к востоку. Легким узором едва проступали звѣзды.

— Вот она, сказал Христофоров, указал на блѣдно-золотистую, нѣжную Вегу.

— Это Вега, Ваня, альфа Лиры, о которой я говорил вам, как об одной из самых близких к нам.

— Да, помню.

— Это Вега, повторил Христофоров. — Голубая звѣзда Вега, звѣзда любви, моя звѣзда.

— Как-же так ваша?

— Вы не видите сейчас параллелограмма Лиры, возглавляемаго ею. Небо недостаточно еще стемнѣло. А почему это моя звѣзда, особый разговор.

Христофоров разговора не продолжал. Да было-бы и поздно. Уже вполнѣ темнѣло.

В Двориках по ночному лаяла собака. Пора.

У Антона Прокофьича на столѣ стояла маленькая лампочка, едва освѣщавшая комнату. Сам он раздѣвался за перегородкой, по вре-

монам высовывал худую голову в очках и с тощею козлиною бородкой.

— Кто смѣл, крикнул он, когда Ваня и Христофоров входили: тот двоих съѣл.

Панкрат Ильич, с которым, видимо, шел у него оживленный разговор, стелил на полу тулуп.

— То-то вот и съѣл... они, черти, всѣ нажратые. Кто сыт, тот и съѣл. А наше мужичье, что? Замѣсто хлѣба оконятник. Ткнешь его, он и икнет.

— Ага, сопутнички, пора, пора, заговорил вновь Антон Прокофьич. — Ну, что-жь, все жительство наше обозрѣвали, всѣ Палестины? Как нашли здѣшнюю мѣстность?

— Да мы так — Ваня отвѣтил уклончиво — просто прошлись.

Панкрат Ильич осклабился.

— Алексѣй Иваныч, всѣ-ли звѣзды перечли? А то вдруг-бы чего не позабыть? Там у вас хозяйство большое!

— Всѣх не перечтешь, Панкрат Ильич, а закат ясный, чистый, и пожалуй, завтра опять денек выдастся погожій...

— Значит, и совсѣм по землѣ поѣдем.

Из-за перегородки опять высунулась остроугольная тѣнь.

— Про звѣзды, значит, и ска-ажи на милость...

— Алексѣй Иваныч у нас самый во всем городѣ ученый человѣк, отвѣтил Панкрат Ильич тоном серьезным и благожелательным. — Оно, конечно, это теперь мало кому нужно, да вѣдь не вѣк-же так будет...

Христофоров с Ваней улеглись на полу, рядом. Огонек задули. Нѣкоторое время всѣ лежали молча. Тикал только маятник дешевеньких часов с гвоздями вмѣсто гири.

Вдруг Панкрат Ильич приподнялся и сѣл.

— Нѣт, я этой стервы не вынесу. Это как хочешь, Антон Прокофьич.

За перегородкой скрипнуло.

— Да вѣдь я что-ж, мнѣ цѣловаться с ними. что-ли?

— Посуди сам: у меня тридцать десятин земли. Что я, украл ее? Нѣт. От отца получил? Тоже нѣт. Я ее, землю-то, своей мозолью нажил. Я как сукин сын работал, и в Москвѣ, и в Ростовѣ служил, недоѣдал, недосыпал, все копил. Бывало, даст хозяин к празднику пятерку — прямо в сберегательную. И женился, завел дом, землицу, свиней, птичник, всякую коровку. Овес сѣял шведскій и шатиловскій — сам за сѣменами ѣздил. Сѣялка, вѣялка, плуги какіе — заглядѣнье.

— В полном оборотѣ хозяйство... откликнулись из-за перегородки.

— А земля что у меня давала? Почитай сто пудов с десятины. Я овес разводил, хоть на выставку выставляй. Свиньями с латышом мог помѣряться, с Башинским...

Панкрат Ильич помолчал, только в темнотѣ слышалось его сопѣнье.

— Свиней всѣх перерѣзали, птицу исполком сожрал, землю раскроили, чтобы каждому бродягѣ хватило. А что толку? Эта-же земля теперь тридцати пудов не дает. А ты бейся. Да того гляди, из собственной избы выставят. Нѣт, чего

тут... Заряжу двустволку, да как ахну раза, вот тогда узнают.

Панкрат Ильич нѣсколько раз вздохнул, бурно, с клокотаньем, перевернулся, почесался, и довольно скоро захрапѣл.

Христофорову-же не спалось. Всѣ эти разговоры он слыхал не раз — не так уж интересно, даже нѣкое уныніе они нагоняли. Просто хотѣлось отдохнуть, тишины, свѣта... он и сам точно не сказал бы чего, только не этой избы, и не храпа, и не розвальней, не круп, не меринов...

Ваня дышал ровно, но Христофоров чувствовал, что он не спит. Вдруг Ваня сѣл. Христофоров слегка пошевелился.

— Вот, не могу заснуть, прошептал он. — Вы меня растревожили, что-ли...

— Чѣм-же я вас растревожил? Тоже шопотом спросил Христофоров.

— Не знаю, глухо отвѣтил Ваня. — Сам не знаю.

Христофоров тоже сѣл, взял Ваню за руку.

— Вы точно недовольны мною?

Ваня вздохнул.

— За что мнѣ недовольным быть? Да и я... Ваня докончил как бы замявшись: я, Алексѣй Иваныч, не могу быть недоволен вами, если-бы и захотѣл.

Он помолчал.

— Почему вы это говорили... голубая звѣзда, звѣзда любви... Я ничего не понимаю.

— Ах, вот что...

Если-бы не было темно в избѣ, Ваня увидѣл-

бы, как расширились, и вперились в блѣдный квадрат окна глаза Христофорова.

— Это, Ваня, тоже отголосок прежняго.

— Ну, ладно, прежняго... А что-же?

Христофоров пожал его руку.

— Вы хотите от меня какой-то исповѣди... в душной избѣ, по дорогѣ в Москву, завтра будем прятать вещи...

Ваня сѣл поудобнѣе, и шепнул, не без упрямства:

— Хочу.

— Ну что-же, если хотите... — Христофоров помолчал. — Голубая звѣзда есть звѣзда покровительница всей моей жизни. Я случайно это открыл. То-есть, для меня самого это ясно, а для других... В чистотѣ, нѣжности этой звѣзды слилось все прекраснѣйшее, женственное, что разлито в мірѣ. Для меня Вега есть облик небесной Дѣвы, неутоленной любви, благостной силы, мучившей и дававшей счастье...

— Значит, вы счастливы не были.

— Иногда, быть может, был... Но...

Голос Христофорова слегка пресѣкся. Ваня вздохнул.

— Это нам трудно понять, Алексѣй Иваныч.

И вдруг приложил горячій лоб к рукѣ Христофорова.

— Я два года назад полюбил одну дѣвушку. У нас жила, бѣженка. Полька. Как я ее любил! Мы цѣльный год с ней и прожили. А потом она уѣхала... Так, все-таки, уѣхала.

Христофоров почувствовал на рукѣ своей горячую влагу. Голова Вани слегка вздрагивала.

— Уж как просил не уѣзжать... уѣхала.

Христофоров медленно, ласково гладил другою рукою волосы Вани. В четыреугольникѣ окна была видна голубоватая звѣзда.

V

К большому удовольствію Панкрата Ильича, утро принесло мороз. Поднялись совсѣм затемно. Антон Прокофьич вздул огонь, при фонарѣ запрягали, при полных звѣздах, по скрипучему, синему снѣгу двинулись невѣдомо куда — по крайней мѣрѣ, так казалось Христофорову. Что-то таинственное, почти воровское было в этом выѣздѣ. То-ли разбойники, то-ли контрабандисты. — Христофоров и улыбался про себя, ощущая под ногой куль с крупою, но и какое-то волненіе в нем подымалось. Вечером должна уж быть Москва. На фабрикѣ, вблизи Рогожской, собирались ночевать у сторожа, дяди Панкрата Ильича.

А пока что, ѣхали проселком средь молоденьких березок, их смѣняли голыя поляны, сплошь в снѣгу, и мелкій ельник, лишь укрывшій-бы лисицу. Здѣсь еще зима. По зимнему багрово выкатилось солнце, сизый воздух все еще казался колким. И по сторонам дороги чаще попадались синія цѣпочки — заячьи слѣды.

Ваня был хмур и неразговорчив. Сидѣл спиною к Христофорову ,похлопывая рукавицами, иногда рѣзко дергал вожжу. Ну да, как будто говорил его вид: вчера разстроился и разболтался, ничего не значит, нынче все по прежнему... И когда Христофоров спросил, хорошо-ли

он спал и как себя чувствует, Ваня бѣгло поднял темно-вишневые свои глаза и угрюмо отвѣтил:

— Отлично.

Так ѣхали довольно долго. Солнце уж совсѣм высоко поднялось, слегка пригрѣло, и кое гдѣ выступили по дорогѣ пятна. За розвальнями оставался то зеркальный, то атласно-шоколадный слѣд. Послѣ безконечных поворотов, спусков и подъемов оказались вдруг у въѣзда в небольшую деревушку. Она стояла на пригоркѣ. Открывались виды на далекую долину рѣки Пахромы. Странное чувство появилось у Христофорова: точно Москва близко, и совсѣм знакомое, родное в пейзажѣ, но и никогда он не был здѣсь, так глухо, так заброшено в лѣсах, проселках, будто страна сказочная, или страна сна: и то, да и не то, и близко, а не попадешь. Это ощущенье в свѣтлый, солнечный день, вдруг прошло по его сердцу неожиданною грустью.

Подъѣхали к избѣ с краю, рѣшили отдохнуть. Лошадей оставили у крыльца.

В избѣ было свѣтло, довольно чисто, и довольно людно. Шныряла молодая, ловкая бабенка в клѣтчатой кофтѣ, с высокими грудями, старуха возилась у горѣвшей печи, толкались дѣти, и не совсѣм понятные мужчины, не то родственники, не то проѣзжіе, допивали чай, шумно разговаривали, потом один, молодой, встал, взял в углу какой-то куль, в сопровожденіи бабенки потащил в сѣни. Пріѣзжих встрѣтили очень привѣтливо. Христофорову даже показалось, что слишком. Старуха кланялась. Молодая сейчас-же предложила чаю, и яичек,

появился бѣлый хлѣб. Было впечатлѣніе, что это постоялый двор.

Чаю выпили охотно. За окном блестѣл снѣг в полѣ. Панкрат Ильич был разговорчив, весел, обтирая свѣтлые усы поглядывал на молодуху. Так посидѣли с полчаса. Вдруг, недопив чашки, будто сообразив что-то Панкрат Ильич быстро вышел в сѣни. Молодуха слѣдом. Потом раздались голоса, все громче, дверь шумно вновь отворилась, и Панкрат Ильич, поблѣднѣв, блестя глазами, крикнул:

— Овес мой украли!

Всѣ сразу замолчали, потом поднялись, и началась безсмысленная суматоха. Выбѣжали из избы, вдруг потерявшей все свое гостепріимство. Улица была пустынна. Лошади стояли, снѣг блестѣл, куля овса как не бывало. Бросились по избам спрашивать. Одни совѣтовали догонять направо, в поле — видимо, кто-то проѣхал и зацѣпил. Другіе — по проселку мимо коноплей.

Панкрат Ильич бросился было наперерѣз воображаемому врагу, конопляником мимо риг, но добѣжав до большой дороги, сразу оглядѣвшись вдаль во всѣ стороны, будто сообразил, и назад шел уже мрачно, не торопясь.

— Своих рук дѣло, вполголоса сказал Христофорову, злобно блестя глазами. — Да, ищи тут! Вон — он указал бровями на молодого малаго, больше других суетившагося: этот и спер, пока мы чаи распивали. Тут-же гдѣ нибудь и спрятали, в скирдникѣ, на сѣновалѣ. Эх ты, сукинаго сына!

Он яростно плюнул.

Хозяева предлагали обыскать избу и клѣти. Панкрат Ильич молча, безнадежно полѣз на чердак, шарил на дворѣ. Собирался народ. Шептались. Хозяева принимали невинно-оскорбленный вид. Явился комиссар деревни и потребовал документы.

— Сами нивѣсть кто, а туды-же, ищут! — говорили в толпѣ. — Они сами, может, какіе бѣглые!

Документы оказались в порядкѣ, но Панкрат Ильич сразу что-то сообразил, мигнул Христофорову и Ванѣ, и через минуту всѣ были уже в розвальнях.

— Их бы самих обыскать, сами незнамо что везут... — раздались голоса, но Панкрат Ильич хлестнул своего мерина, а сѣрая кобыла крупной рысью стала догонять его. У крыльца-же толпился народ, долетал смѣх и бранныя слова. Когда отъѣхали подальше, Панкрат Ильич пустил коня шагом, слѣз и подошел к розвальням спутчиков.

— Ну, и сыграли дурака! Это-же деревня самая разбойничья, они всѣ тут заодно, мнѣ еще наши говорили: в Куликах не останавливаться... Ах, сукинаго сына! Да вѣдь это-ж как раз Кулики и есть. Ну, одурѣл, прямо одурѣл!

Панкрат Ильич шел рядом, вертѣл цыгарку, ругался и все разглагольствовал, как бы он обошелся с вором, если-бы его поймал. И так бы он его, и этак... Но все это были лишь мечтанья. В многорѣчіи-же его, возбужденьи, блескѣ глаз было подлинное, непогасшее негодованіе. Христофоров слушал молча. Не то, чтобы ему было жаль овса. Но вся исторія с избой, явно пред-

ставлявшейся сейчас притоном, смутной тѣнію легла ему на душу. Да, солнце подымается все выше, пригрѣвает, голубыя дали над долиной Пахромы струятся по весеннему и кой гдѣ выступают лужи на лугах. Но хорошо-бы просто подъѣзжать, к Москвѣ обычной, не встрѣчая по дорогѣ пятен крови. Ну какой контрабандист он, Алексѣй Иваныч Христофоров? А вѣдь выходит так.

Ваня молчал упорно, мрачно. Христофоров вглядывался вдаль, ему казалось, что вот вот и заблестит на горизонтѣ купол Христа Спасителя. Панкрат Ильич горячился и сердился. В каждой деревушкѣ приходилось спрашивать о дорогѣ, чтобы не попасть на заградительный отряд. И чѣм дальше, тѣм труднѣй и безнадежнѣе казалось выбраться из сѣти, что раскинута вокруг столицы.

Под вечер погода измѣнилась. Задул вѣтер, небо в тучах, мрачный, лиловатый отблеск лег на поля, когда подъѣхали к Николо-Угрѣшскому монастырю. Как раньше попадались замершія фабрики, так мертвен был и монастырь, хотя для виду там и помѣщалась дѣтская колонія. Поднялись в гору, мимо его мощных стѣн, вѣтер ревѣл в деревьях, дорога почернѣла. Шли пѣшком. Кормили вновь в убогой, безотвѣтной хатѣ с земляным полом, голодными дѣвочками, качавшими пеструю люльку, и голодной бабой. Скорбь нищеты как-то особенно ударила в этой пустынной, над оврагом, хижинѣ с черным потолком, кислым и затхлым запахом и воем вѣтра в крышѣ. Сквозь оконце над темнѣвшим горизонтом вдруг легла кровавая полоса заката и

еще новым сумраком отозвалась в душѣ. «Ну, дальше, дальше, все равно, скорѣй-бы уж...»

И с чувством облегченія и возбужденія усѣлся Христофоров в розвальни, навсегда бросая непривѣтныя мѣста. Панкрат Ильич туго стянул поясом тулуп, напялил шапку, вид имѣл серьезный. Проходя мимо розвальней Христофорова, сказал кратко:

— Мѣшкать нечего. Ванятка, подгоняй кобылу. Ночевать будем у старика. Больше и негдѣ.

Сам сердито стеганул мерина, погнал его вниз под горку, по лужам и ухабам распустившейся дороги. Вѣтер стал бить прямо в лицо. Заря уже угасала, небо становилось все темнѣй, а вѣтер, сырой, порывистый, не унимался, гремѣл гдѣ-то желѣзным листом, свистѣл на мосту, рябил лужи и ломал льды на рѣках. Самый развесенній вѣтер. Христофоров чувствовал, что теперь надо просто дремать и терпѣть, надвигается сумрак и ничего не увидишь, ничего интереснаго нѣт, а ночлег уж в Москвѣ... Он там не был давно, кой о ком знал, кой кого уже нѣт. Что-ж, с Москвой много связано, но теперь идет новое, вот частица его даже здѣсь, на облучкѣ розвальней. И вмѣсто того, чтоб дремать, он вдруг спросил, из глубины своей шубы, негромко, привѣтливо:

— Что-же Ваня наш невесел, что головушку повѣсил?

Ваня обернул свое пріятное лицо, слегка обвѣтренное, еще гуще загорѣвшее от дней дороги, улыбнулся.

— Я не повѣсил, Алексѣй Иваныч. Слава

Богу, ѣдем, поскорѣй-бы только уж... Темноты заставать не хочется. Здѣсь, под Москвой, мѣста непокойныя.

«А сам какой покойный», подумал Христофоров. «Вот вам и Россія. Уж чего страшнѣе время...»

— Ваня, неужели вы вчера совсѣм не поняли... о голубой звѣздѣ?

Ваня удивленно на него взглянул.

— Я так не говорил. Для вас я даже очень понял. Я хотѣл сказать, что это не для нас. Я вѣдь простой, Алексѣй Иваныч, мѣщанскій сын. Люблю, так уж люблю, не люблю — кончено.

— Ну, тоже не совсѣм простой...

Помолчали.

— Вы очень рано взрослый, очень скрытный, очень сам с усам...

— А вот вчера наболтал? хмуро сказал Ваня.

— Почему вам это непріятно? спросил Христофоров, тише, с нѣкоторой глухотою в голосѣ. — Ну, вы сказали о своей любви. Но я ваш друг, вѣдь я-же не болтун, что вы довѣрили, то и не выйдет....

Ваня вздохнул:

— Конечно. Все-таки, нѣт. Ослабѣвать не надо. А вчера я ослабѣл.

Стало совсѣм темно. Кобыла шла покорно, слѣдом за Панкратом Ильичем. Ваня не правил. Оба думали о чем-то и молчали.

На одном спускѣ Панкрат Ильич пріостановил мерина, вылѣз и подошел к спутникам. В темнотѣ, направо, чуть свѣтился огонек.

— Ну, вот, Ванятка, видишь этот дом? Скоро подъѣдем. Это так тут... Постоялый двор.

Только не остановимся. Жулье разное. Мѣстечко паршивое, послѣднее под Москвой. Дорога вниз спущается, и в родѣ-бы ложочком, а там мост. И так что у нас слышно, в этом-то трактирѣ собираются, присматривают, чѣм-бы поживиться. Ну, вы и поглядывайте...

— Есть, глухо отвѣтил Ваня. — Знаю.

Панкрат Ильич молча тронул предохранитель браунинга. Пошел к своим розвальням.

Сквозь мглу, черноту вѣтра огонек стал ярче. Скоро выдвинулся и самый дом — одиноко стоял при дорогѣ, двухэтажный, будто трактир. У фонаря лошадь в пошевнях. В нижнем этажѣ чайная, сквозь тусклое оконце видно нѣсколько человѣк.

— Они самые и есть, шепнул Ваня.

За домом, по откосу, начинался лѣс, и спускался вдоль дороги ниже. Вѣтер гудѣл в нем. И вокруг была глубокая пустыня.

— Ваня, почему вы сказали: знаю?

— А я и правда знал, Алексѣй Иваныч, мнѣ еще в городѣ говорили. Я вам не сказал... не хотѣл тревожить, прибавил он сдержанно.

Панкрат Ильич пустил мерина полной рысью, Ваня тоже хлестнул кобылу. В темнотѣ розвальни быстро покатили вниз, иной раз шли в раскат, стукались разводами о край дороги, кренились, а потом чиркали полозьями по землѣ и все летѣли.

— Не безпокойтесь, шепнул Ваня: в случаѣ чего, я буду вас оборонять.

Христофоров слегка пожал его руку.

— И у вас револьвер?

Ваня слегка приник к нему, толчки саней как

будто-бы тѣснѣй сливали их, голосом сдавленным и почти страстным он опять шепнул:

— Нѣт. Финскій нож. Ежели на вас — зарѣжу...

Христофоров поднял воротник шубы, лѣвой рукой крѣпче держался за развод. Справа он чувствовал напряженное, ставшее нервным и электрическим тѣло Вани. Вѣтер свистал, сбруя моталась, черезсѣдельник танцовал, хомут наѣзжал кобылѣ на уши, но увлекаемая меринком, она взволнованно, сама не зная как, неслась вниз все быстрѣе. Ваня дернул возжами, она тяжело заскакала. «Да, не выдаст», проносилось в головѣ Христофорова. «Да, Ваня молодец...»

Вдруг раздалось ясное цоканье подков мерина. Кобыла чуть не налетѣла в темнотѣ на розвальни, тоже перешла на шаг. Переѣзжали мостик. Он обтаял. Сыро проползали по его настилу. А внизу овраг, и лѣс, и тьма, и глухо гудят сосны.

«Классическое мѣсто нападеній», подумал Христофоров, с непріятным стѣсненіем в груди. «Ну, что-ж тут дѣлать... Кажется, еще подъем, но небольшой...» Панкрат Ильич опять стал нахлестывать, и лошади, запаренныя, задыхаясь, тяжелой рысью выкатили на изволок. Выемка и овраг остались сзади. Развернулось поле, тьма ровная, но вдалекѣ, на горизонтѣ зеленѣли огни, и на небѣ заструилось зарево. Москва! Вот она, наконец. Сумрачно и зловѣще мигали, переливались свѣтлыя точки. Сколько раз подъѣзжал он к ней раньше, по желѣзной дорогѣ, и всегда зарево это сіяло, но ярче, пышнѣе. В нем тогда было мягкое, и родимое. «Мать-Москва...»

Голубая звѣзда. Как ужасно далеко! А сейчас злобный дьявольскій глаз... Не свѣт. Не легкость, и не радость. Безплотно, злодѣйски полыхает колдовской фейерверк.

Христофоров вздохнул, поднял воротник снова, глубже вдвинул голову в плечи и расположился дремать. Теперь уже все ясно. Начинаются слободки, гдѣ живут огородники, опасности нѣт, все позади, под мостом, в оврагѣ. А через час новый ночлег, новый чужой пріют — ну, развѣ мало их он видѣл?

И Христофоров зѣвнул, закрыл глаза, отдался мѣрному покачиванью розвальней.

Его разбудил рѣзкій толчек. Сѣрая кобыла вдруг остановилась, он чуть не упал впеpед.

— Панкрат Ильич! крикнул Ваня.

Христофоров видѣл, как какая-то фигура сбоку бросилась на Ваню, чьи-то руки слѣва стали шарить и тащить из под ног Христофорова. Он поднялся в санях, не снимая шубы, и сдавленным голосом пробормотал:

— Что вы тут... зачѣм это...

Его ударили по уху. Он покачнулся и упал на боровшихся. Вновь тѣ-же руки ловко выбрасывали из розвальней вещи. Вдруг из клубка Вани раздался вопль, и фигура метнулась из саней на дорогу. Ваня за ним, и какою-то силой, ему самому непонятной, выскочил вслѣд и Христофоров.

— Васька, завопил голос из-за Вани, у них орудіе, зарѣзал,... голубчики... Пали, чорт, Васька, пали...

Христофоров обернулся, нескладно развел и поднял руки в тяжелых рукавах шубы, как

бы заслоняя борющихся, и прямо в лицо ему дыхнул жар выстрѣла. На этот раз что-то горячее и острое толкнуло в грудь, и так-же, размахнув руками, он упал в грязь на спину. Над ним раздались новые выстрѣлы, стон, борьба, матерная брань Панкрата Ильича, вновь выстрѣл, топот убѣгающих ног.

VI

Аким, старичек в валенках, дядя Панкрата Ильича, жил сторожем на заброшенной фабрикѣ под Москвой. Он знал, что будет ночевать племянник. И когда вечером, в десятом часу, раздался стук в ворота, спокойно надѣл рваную ватную шапченку, взял фонарь и пошел отворять. Но совсѣм взволновался, увидав тѣло тяжело раненаго.

— Милицію, сейчас-же, мрачно сказал Панкрат Ильич. — Помрет, хлопот не оберешься.

И вид его, и тон были так крѣпки, что не приходилось разговаривать. Едва введя их, заперев ворота, Аким отправился на ближайшій пост.

Через час все было кончено. Христофоров лежал в большой комнатѣ бывшей квартиры директора, гдѣ жил теперь Аким, дышал тяжко, задыхался, но объяснил отчетливо, как все случилось. Милиціонеры были все знакомые. Их угостили спиртом, они не очень-то настаивали, зачѣм Ваня и Панкрат Ильич ѣхали в Москву. Потом ушли. Началась долгая ночь.

В сосѣдней комнатѣ Аким стелил себѣ и

пріѣзжим. Панкрат Ильич пил безконечно чай и волновался, без конца разсказывал.

— Меня, значит, сукины дѣти, вперед выпустили — услышит выстрѣлы, сам удерет. А Ваняткину кобылу сейчас это под уздцы, и на их с двух боков. Я как услыхал, у меня под сердце и подкатило, ах, думаю, какая сволочь, грабители проклятые, а у самого орудіе готово. Остановил мерина, выскочил из саней, бѣгу, сам об одном только и думаю: Господи Боже ты мой, дай мнѣ только не промахнуться, прямо весь бѣгу, весь дрожу... Для острастки раза два на воздух саданул, подбѣгаю, а они волчком катаются, и вот Ванятка сурьезный оказался, так что успѣл финскій нож выхватить, и тому в пах довольно хорошо двинул.

— Все бы одно другой застрѣлил, мрачно прервал Ваня. — Меня Алексѣй Иваныч собою загородил. Вот и хрипит теперь...

Ваня вдруг встал, подошел к окну, уставился в темноту ночи.

— Это безспорно и без сомнѣнія, чтобы застрѣлил... Потому я еще порядочно далеко был.

Аким почтительно охал. А Панкрат Ильич, весь разгорѣвшійся от чая и волненія, разсказывал, как выстрѣлил, наконец, и он, и подбил «стервецу» руку.

— Ну, тот дерака. Который лошадь держал, еще ранѣе залился, а на послѣдняго уж мы с Ваняткой принасѣли. Очень просился, отпустите, мол, голубчики... Нѣт, шалишь, поздно.

За что такое наш серед дороги лежит, кровью плюет? У меня обойма еще свѣжая была. Я его сначала браунингом по мордѣ учил, так

что даже все орудіе загвоздал кровью, а потом устал. Что такой за работник я, думаю? Заложил обойму да как ахнул ему окол уха...

— Это, конечно, нельзя простить, с почтеніем подал Аким. — Разумѣется дѣло, как слѣдует поучили, теперь иначе нельзя. Взять бы нашу фабрику. Почитай всѣ ремни срѣзали. Истинный Господь. Так кусками и рѣжут, вамже, в деревню, на муку вымѣниваютъ...

Ваня вошел к Христофорову. Свѣча на комодѣ была заставлена ширмочкой, оранжевый сумрак стоял в комнатѣ. Когда-то здѣсь жили с достатком, прочно. Стоял шкаф и комод, висѣли портреты, на окнах портьеры. Теперь чужой человѣк, с полузакрытыми голубыми глазами, длинными слипшимися усами и свѣтлой бородкой лежал на спинѣ, тяжко дышал, иногда кашлял и плевал кровью. Ваня сѣл у его ног, в мягкое кресло. «Доктора раньше утра не будет...» Он закрыл глаза. «Ну, да что... доктора...»

Аким с Панкратом Ильичем укладывались спать. Тихо было за тяжелыми гардинами, на пустынном дворѣ пустой фабрики. Ванѣ казалось, что вообще никого нѣт больше — он, да Алексѣй Иваныч. В покорности положил он свою голову на постель, у ног Христофорова. Так было лучше. «Ну, вот, говорил вид его: я пред тобой. Один я здѣсь, и не уйду».

Христофоров зашевелился. Ваня подал ему стакан теплаго чая. Тот отхлебнул.

— Гдѣ это я?

Ваня объяснил.

Христофоров взял Ванину руку.

— Хорошо ,что ты со мною. Лучше. Веселѣе.

— Алексѣй Иваныч, сдавленно сказал Ваня, зачѣм вы... зачѣм вы тогда... вмѣшались?

— Не помню.Так, значит, надо было. А ты... жив? Совсѣм? Ну слава Богу.

Он продолжал держать его руку в своей. Ваня замѣтил — в первый раз он назвал его на ты.

Христофоров молчал довольно долго.

— Ты молодой... Тебѣ жить. Совсѣм молодой.

Ночь шла медленно и тяжело. Христофоров сильно страдал, хрипѣл, задыхался. По временам бредил и бормотал.

Очень поздно — Ваня думал, что уже перед разсвѣтом, но в дѣйствительности до разсвѣта было далеко — Христофоров вдруг обѣими руками потянулся к Ванѣ. Тот над ним наклонился.

— Живи, живи, хорошо живи... меня помни.

Когда поднялись Аким и Панкрат Ильич, Христофоров лежал с правильно сложенными руками и закрытыми глазами. Ваня причесал его своей гребенкой. На лицѣ Вани, поблѣднѣвшем и осунувшемся, остались сухіе размывы слез.

Увидав Христофорова, Панкрат Ильич перекрестился, низко ему поклонился.

— Эх, Алексѣй Иваныч, милый человѣк... Ни за понюшку табаку!

Потом обернулся к Акиму:

— Не к нашим временам, нѣт... Нынѣ зубы надо волчьи.

А когда старуха взялась обмывать тѣло, он замѣтил:

— Ѣхать-же нам надо незамедля. Опять оттепель. Часа пропустить нельзя. Распустит, и домой не доберемся.

— Поѣзжайте, сказал Ваня. — Я до похорон останусь, все равно.

Панкрат Ильич посмотрѣл на него, хотѣл что-то сказать, но не сказал. И молча пошел запрягать своего мерина.

Пюжет, авг. 1926.



АВДОТЬЯ-СМЕРТЬ

I

Через два дня как выпал снѣг, когда в комнатах стало свѣтлѣе и вмѣсто тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по бѣлѣющей прохладѣ, когда запахло до слез остро снѣгом и пронзительно-горестно выступили свинцовыя дали, — в деревушкѣ Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человѣк огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, рыжеватой бородой, привык ничему не удивляться. Он неторопливо копошился у розвальней, ладя по новому оглоблю, когда высокая, тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть, отвѣтил Лев, с усиліем, изо всѣх сил затягивая петлей веревку. — А ты кто-же будешь?

— Что-ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина то вдова, вашего-же, кочкинскаго? А как я теперь без пропитанія, да бабка на руках слѣпая — разрази ее Господь — да Мишка несмышленый, жрать то нечего, прямо как рыбочка бьешься...

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбѣжала...

— Та-ак... Лев равнодушно почесался. — Матюшкина вдова. Да он что-ж у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городѣ околачивался.

— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не признал...

— Тебѣ чего-же надо?

За плечами у Авдотьи висѣла котомка. Худа она была до чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.

— Как чего? Вы то, небось, барскую землю забрали, а вѣдь я тоже обчественная, как рыбочка бьюсь, бабка слѣпая, Мишка несмышленый...

Дѣло было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотѣла, чтобы ей прирѣзали земли. Лев это сразу понял, но сначала сдѣлал вид, что не понимает, а когда долѣе не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда, взяли землю у господ, но ея стало даже меньше. Лев Головин глубоко был увѣрен в правдѣ своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвѣчала десятью, блѣдныя ея губы дрожали, мужской голос хрипѣл свое, она пристукивала палкой и плотнѣе насѣдала на Льва.

— Тогда уж надо обчеству... как обчество тебѣ рѣшит, так и быть.

Под *тогда* Лев разумѣл: если уж ты такая стерва, что от тебя мнѣ не отдѣлаться, так пускай общество отдѣлывается.

И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи ни меланхоличен был комиссар Лев Го-

ловин, все-же ему пришлось под вечер созвать сход и доложить о дѣлѣ. Никому не было оно в радость. Но Матюшка, правда, нѣкогда жил в Кочках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приблудный пес, сидѣла на крыльцѣ и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу, разсказывал комиссар медленно и грустно: а она вот как вот... И откуда ее принесло? Из под земли выскочила! Или уж ее вѣтром к нам надуло, со снѣгом, по первопутку?

— Ее надуешь! — сказал кривенькій мужиченко Кузька. — Она сама, смотри, какого ходока задает. Я видѣл. Я с ней говорил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун.

— Как ея упокойный муж, дѣйствительно сказать, был наш кочкинскій, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходѣ и должны привести в дѣйствіе — бойко произнес одутловатый человѣк с шарфом на шеѣ, бывшій приказчик, а нынѣ состоятельный крестьянин Ѳедор Матвѣич — и этим рѣшил дѣло.

Постановили земли дать, на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.

Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станціи — за Мишкой и бабкой.

— Видишь, как чешет, сказал Кузька. — За ней на меринѣ не угонишься.

Авдотья быстро скрылась во мглѣ.

II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным полом, гдѣ нѣкогда гудѣл сепаратор. Рукоятку его вертѣла тогда Маша Головина, она-же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцію. От этого былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кромѣ самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров, и с огорченьем сами вынуждены были их отдать в совѣт. Сепаратор продали куда-то. Николай Степанович, столь любившій чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужуркѣ. И из большого дома, со второго этажа котораго был виден пруд, угол липоваго парка и бугор перед глазами, замыкавшій горизонт, Варвара Андреевна не по своей волѣ переселилась во флигель. Но как раз она и измѣнилась меньше всѣх. Хотя владѣла лишь надѣлом (считаясь членом кочкинскаго общества), но так-же строго и спокойно принимала комиссара Льва Головина на кухнѣ, говорила ему «ты», и в бобровой шапкѣ, шубкѣ, с палочкой, медленно и властно обходила прежнія свои владѣнья, заглядывала в амбар, половину котораго — в награду за боевыя заслуги — увез лѣтом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику-сосѣду кое-что из старья, и как и встарь обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище — в прежней дѣвической своей комнаткѣ учила кочкинских дѣтей — все, как по старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слѣпою бабкой, с Мишкой, двумя пѣтухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержана, за это-же время ея старые, нѣкогда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пан-сіонерка у нас появилась, сказала она Лизѣ, отдавая комиссару ключ от избы. — В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пан-сіонерка», с французским выговором, так учили ее нѣкогда в Петербургѣ, в пансіонѣ мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ея сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода... Может, любила кого, замуж выходила...

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невѣста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало, или восторгало Лизу, смотрѣла равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нея, Лизы, — так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно было то, что мать безразлична к вѣрѣ.

Авдотья-же не занималась тонкостями, нѣжностями. Она кипѣла. Ей все равно, вѣрит или нѣт слѣпая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заѣшь, — кричала она мужским голосом, — да что-ж мнѣ на тебя, на старую кобылу милостынку собирать? Я бѣгаю, бѣгаю, прошу у добрых людей, всѣ ножки отбѣгала, а она жгрет да жгрет, знай, лопает, у-у, вредная стерва...

Стерва безотвѣтно сидѣла на завалинкѣ, пялила слезящіяся бѣльма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ея покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в дѣтствѣ при видѣ жестокостей и надругательств, вся побѣлѣла, и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы дѣлаете, Авдотья...

Обернувшись, та увидѣла «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она, все-таки, «барыня».

И отскочила от бабки.

— Да я, милок, я это маленько... только что поучила... У-у, она вредная... вы ее, барыня, не знаете.

— Да вѣдь она вам мать...

— Только и дѣлает, жгрет с утра до вечера, а уж я и всѣ ноженьки отмотала... Ты чего, паршук, смотришь — крикнула на Мишку, с любопытством взиравшаго, как «учат» бабушку. — Я тебѣ задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот...

— Сама сука... — Мишка осмѣлѣл, что ря-

дом Лиза, и шморгнув носом, стреканул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется — и, махнув рукой, пошла к себѣ во флигель.

Варвара Андреевна много спокойнѣе отнеслась к дѣлу.

— Ты очень жалостливая, и всегда такая была. С ними нужно крѣпче нервы. Они всѣ такіе. А ты думаешь, другіе лучше? Они не так чувствуют, как ты...

— Ах, мама... бабка старая, слѣпая. И с каким ожесточеніем она ее колотит...

— Ну, кто-же говорит! Кто это одобряет! Вот, придет ко мнѣ, я ей такой реприманд сдѣлаю...

Авдотья заявилась в тот-же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда костлявою рукой, рѣзко дернувши входную дверь, она вошла с мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза бѣлесы, безпокойны.

— Я к вашей милости, матушка барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая... на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нѣт, пол холодный, бабка жалится.

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.

— Нѣт, нѣт, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в оврагѣ. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбѣ будешь драться, так смотри...

— Что вы, что вы, милок барыня, какое

драться, я и отродясь-то не дралась, я смирная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здѣсь не окажется...

Авдотья продолжает увѣрять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг что-ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться...

Тон Варвары Андреевны дѣйствует. Быть может, кажется Авдотьѣ, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имѣет выставить ее из молочной. Соображает-ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвырнуть из флигеля, чѣм ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку-ли боязни, в надеждѣ ли на мелкія подачки — их дѣлают на кухнѣ постоянно — Авдотья удаляется покорно. Смирно мѣряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, задумчиво, с сумрачным недоумѣніем.

Послѣ ужина мать в столовой под висячей лампою раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:

— Знаешь, когда она так шагает, и с этою палкой... ну, точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна, из под пенснэ, поднимает на нее красивые и строгіе глаза:

— Ну, какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебѣ все кажется.

III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбищѣ, под бѣлым березовым крестом. Зимній вѣтер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшіе цвѣты и мелкой снѣжной пылью пѣл вѣчную пѣснь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цвѣты, поправляла перекладину, крестилась, и так-же истово и медленно шла домой. Нѣчто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула как со дна морского длинная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милок барыня, в Аленкино добѣжать, сказывают, мануфактуру привезли, по полтора аршинчика выдают... Я тут одним махом, к обѣду домой...

«В Аленкино... — Лиза медленно подходила к дому. — Десять туда, десять обратно, к обѣду домой...» И обычная тоскливость, тяжесть встрѣчи легла на сердце.

Авдотья-же в это время, на длинных своих ногах, точно-бы на ходулях, неслась в горку за рѣчкой, откуда виднѣлась и церковь, и парк, и двухъэтажный «господскій» дом. Если-бы обернулась, увидѣла-бы и крест Николая Степаныча, но оборачиваться ей некогда, впереди поля, бѣлыя и холодныя, дальнія, с рѣзкой поземкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями — как онѣ извиваются, то вздувают сугроб вокруг елочки-вѣшки, то сметают с обледенѣлой лысины все до чиста! То шагает она по дорогѣ

почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по колѣно — в малѣйшем ложочкѣ. А времени небогато, засвѣтло обернуться, да по дорогѣ, в Кунѣевѣ, хлѣбушка раздобыться... хоть горбушку — и самой голодно, да и Мишка все ноет, и бабка...

— О, Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили, треклятущіе!

Послѣ «репиманда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была потише, но потом приловчилась и била старуху с неменьшим усердіем, но тайно, и запирала в избѣ, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую, по слѣпотѣ, чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом то исходила нѣкая сила, гнѣздившаяся в поджаром Авдотьином тѣлѣ, та сила, что гнала за десятки верст по снѣгам за аршинчиком ситца, краюшкою хлѣба для той-же «стервы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипѣніи жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабкѣ отдохнуть от войны и боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка-же с любопытством и в одиночествѣ слушал, как бабка стонала, охала, смѣшно икала. Пользуясь тѣм, что нѣт матери, Мишка босой вылетал из молочной, с криком побѣды, марш - марш проносился взад вперед по дорогѣ. Это казалось ему смѣлым, прекрасным.

Когда в послѣдній раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогала ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побѣжал «к барынѣ».

На другой день Авдотья с утра заявилась к Варварѣ Андреевнѣ.

— Барыня, дозвольте ту сосенку то, во-о, над прудом, мужичкам срѣзать, там аккурат моей гроб выйдет — ох, уж долгая-же уродилась, прости Господи...

Авдотья была сумрачна и озабочена, и опять недовольна — да и правда, выросла-же бабка такая «долгая», чуть ли не полсосны под гроб... Да еще захотят-ли «мужички», а за попом... Ах, жизнь каторжная!

— Да-а, говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и грустью, плотнику Григорію Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб. — Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поѣдет. То ей подводу дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Гдѣ наготовиться, мрачно сказал Мягкій.

— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь скородить дай... ты ей все дай, а она тебѣ, знай, как домовой кружить будет. Нынѣ тут, завтра в Аленкинѣ, а там, смотри, до Страхова докинется...

Лев Головин вздохнул.

— И как это она тогда, точно из под земли выскочила... Или ее вѣтром надуло?

Голодный поп быстро отпѣл бабку в нетопленой церкви. Бабка лежала в гробу мерзлая, синяки на лбу и щекѣ пожелтѣли, и все то худое, костлявое, и очень длинное, что когда-то носило имя Елены, и пѣло пѣсни, быть может, любило — на сѣрых суровых полотнищах сошло вглубь земли, рядом с Николаем Степанычем.

Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завыла: так полагалось в деревнѣ, а может быть, не только что и полагалось...

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мѣшал кашель, начинавшійся с ранняго утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, гдѣ прежде грѣлась бабка.

— У-у, дармоѣд, знай по лежанкам лазить!

Авдотья гремѣла посудой, скребла, терла, видно, была в сильном возбужденіи, сама как будто-бы не знала твердо, плакать ей, или ругаться. На всякій случай дала Мишкѣ подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья даже иногда сквозь сон слышала кашель, и с остервенѣніем переворачивалась — поспать не даст, пралик! Вообще тяжело как-то и скверно было. Мерещился все холод, и поля, свист вѣтра, бѣлыя змѣи метелей... В избѣ сильно дуло из окон и снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но увидѣв, что он весь горячій, кашляет и глаза мутные, не тронула. Укрыла его бабкиным тулупом, а сама пошла «к барынѣ» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улицѣ носится, вот и дождалась, сказала строго Варвара Андреевна. — Смотри, чтоб воспаленіе легких не схватил.

— Да что мнѣ, барыня-милок, что мнѣ со стервецом подѣлать? Я уж ему и то говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву..

— Нѣт, нѣт, ты, пожалуйста, потише. Здѣсь не кабак.

Лиза заходила к Мишкѣ нѣсколько раз.

— Как у них ужасно, говорила потом матери. — Воздух... грязь, какой-то мрак, холод... Я прямо боюсь этой Авдотьи.

— Ты всегда была такая нервная. Ну, а уж теперь, послѣ смерти мужа... Авдотью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза рѣшила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. И с этого дня стала она в одинокой своей молитвѣ, поминая ближних и дальних, прибавлять имя Евдокіи. Когда мысленно, стоя на колѣнях, в темнотѣ, называла ее, казалось, что это не совсѣм та, Евдокія была как-то лучше, благообразнѣе, чѣм Авдотья-смерть. И послѣ, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных...» И содрагалась. Если представить себѣ, что надо поцѣловать эти бѣлыя губы Авдотьи, костяной оскал с запахом гнили, могилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных... Нѣт, видно, она недостойна!

Мишкѣ давали, что нашлось в старой аптекѣ: хину, аспирин. Но он непрерывно кашлял. Метался, хрипѣл, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мѣрила ходулями своими землю. Всетаки ухитрялась «добѣгать» к сосѣдям, за двѣ версты к мельнику, в Козловку к Аксюшѣ Лапочкѣ.

Однажды, в холодный предрождественскій день, пробѣжавши верст шесть, в сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомкѣ, кое-что снѣди. Привычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумѣли березы по канавѣ, окружавшей усадьбу. Странным казался

лишь слабенькій отблеск в окнѣ молочной. «Не спалил-бы, пралик...» И она наддала ходу. Костлявой рукою крѣпко двинула дверь. Мишка лежал на спинѣ, неподвижно, красныя его ручки сложены крестообразно, в головах теплится свѣчка. И Лиза. В руках у нея Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успѣла захлопнуть двери, остановилась, смотрѣла безсмысленно на остренькій носик Мишки, на блѣдную Лизу с глазами во влажном блескѣ, и вдруг вопль, хриплый, глухой поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкою своей, с котомкой, к холодным рученкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное...

IV

Дитя ушло, не много вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той-же сосны, творенье тѣх-же старческих рук Григорія Мягкаго. Он лег рядом с бабкою, в нѣскольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободнѣй, сказал Лев Головин, возвратившись с кладбища: двух ртов нѣту. Это уж куда слободнѣе!

Но мужиченко Кузька замѣтил скептически:

— Смотри, дядя Левон, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за нее подводу в город, по веснѣ ты на нее паши... Нѣт, нам не отвертѣться.

Авдотья, правда, стала теперь посвободнѣе. Не было двух праликов — и никого на свѣтѣ

больше не было. Незачѣм волноваться, некого бить, не на кого жаловаться, но и не с кѣм дома сказать слова.

Встрѣтив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:

— Вот, барыня-милок, и дождалася... Враз и отчистилась...

Дома Лиза, сидя с матерью за обѣдом, сказала внезапно:

— Все-таки, мнѣ очень жаль Авдотью.

Варвара Андреевна повернула к ней свой тонкій профиль, и взглянула темными, красивыми глазами.

— Вѣдь она сама того хотѣла. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, заколотила.

— Да, но все-таки...

Лиза осталась при своем.

— Ты всегда, с дѣтства была мягкосердечна...

Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни-же набѣгали, пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками, Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. Казалось иной раз, при видѣ поджарой бабы с котомкой и палкой, без устали над снѣгами шагающей, что, и правда, сам вѣтер несет ее....

Наступал Новый Год. Ледяное встает солнце, в молочно-розовѣющем дыму, с востока вѣтер, обжигающій как пламенем, снѣг на буграх блестит чешуйками, рѣжущими глаза, нѣт сил смотрѣть, только-бы укрыться, отвернуть голову в затишье поднятаго воротника. Но какой

скрип саней! Какая музыка шипѣнья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какіе-то могучіе басы, и ухает, и бьет — на флигель, гдѣ ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит цѣлая рать бѣшеная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубѣ, смолкнет на мгновеніе, чтобы дать мѣсто слѣдующей, и к утру так навьет сугроб у сѣней, что не отворить двери — откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу-же послѣ обѣда. Было бѣло, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала своими ходулями, но через час пріустала. Забрела в Выселки, к теткѣ Агафьѣ, погрѣться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть и темнѣло, рѣшила итти.

— Я тут, милок, одним духом... Рощицу пробѣгу, а уж там все под горку, так вѣтром домчит.

Рощицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, орѣшником, дубками итти было сносно. Метель бѣсновалась по верхам, рвала, расшвыривала по всему полю бурые листики, уцѣлѣвшіе на дубках, свистѣла в голых вѣтках, наметала сугробы у штабелей дров на просѣкѣ. Но в полѣ пощады не было. Авдотья все-же рѣзво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. Лѣсок быстро исчез, и вѣтер как-то бил с разных сторон. Снѣг залѣплял глаза, иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колѣно, слѣдующій шаг — по пояс. Попробовала повернуть. Нѣ-

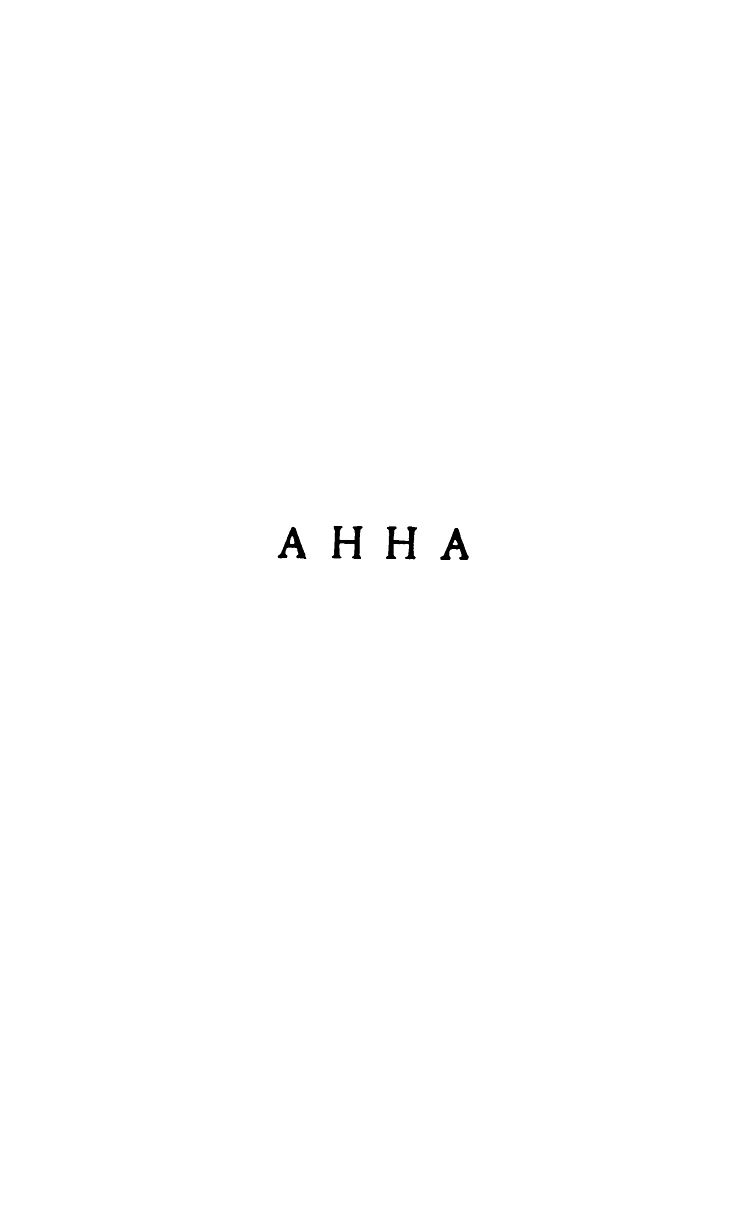
сколько шагов вѣрных — снова сбилась. Туда, сюда, вездѣ «глыбко». Помучилась, побилась, и рѣшила взять направо, цѣликом, и до ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас ложочек, и все ясно. Ухнула за кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снѣгу...

В этот-же вечер, перед сном, стояла на молитвѣ Лиза. Было темно, ревѣла за окном метель, Лиза клала поклоны, молилась за убитаго мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокіи, вдруг увидѣла: ложбинка, вся занесенная снѣгом, и бѣлые вихри и змѣи, фигура высокая, изможденная, с палкой в рукѣ, котомкою за плечами, отчаянно борется, мѣсит в оврагѣ снѣг, и в бѣлом, в таком необычном свѣтѣ Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, всѣ куда-то идут... Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж никаких забот, и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.

Париж, 1927.



АННА

ГОСТИ

— Тут свинки у меня самыя и есть... я не отказываюсь, потому я к свиному дѣлу еще как малюсеньки был, то у нас около Риги ферма имѣлася. И тут завел, конечное дѣло.

Матвѣй Мартыныч пріотворил дверь сарайчика. На дворѣ лошадь пріѣзжих, в телѣжкѣ, сонно жевала сѣно. Виднѣлся низенькій дом, за ним сад. Нѣсколько кур бродило у входа. Индюшка вяло подняла голову, повернула ее набок, закрыла глаза блѣдно-фіолетовыми вѣками и заунывно пискнула. Краснѣла рябина. По осеннему небу медленно шли облака. Матвѣй Мартыныч вышел без фуражки — его короткіе густые волосы стояли бобриком, квадратным, крѣпким. Невысокаго роста, он был так широк в плечах, что, чтобы войти, повернулся наискось и приглашая Чухаева и Похлёбкина, держал волосатую руку на скобѣ двери.

— Все сам строил, чтобы свинкам жить удобно, чтобы свинкам хорошо, их надо в чистотѣ держать. Это все у нас заведено и образовано. Русскіе ничего не понимают, тут даже и помѣщики плохенько свинок держат.

— А это и правда нѣмецкая морда, сказал Похлёбкин, указывая на розовую, осклизлую

піявку с двумя ноздрями, устремленную нѣсколько ввысь, навстрѣчу вошедшим. Бѣлые глазки под желтыми рѣсницами имѣли всегдашнее выраженіе: едва пробуждаемой, мутной сонности. В хлѣвѣ было тепло. Пахло затхло-кислым и острым. Нѣсколько поросят сосало матку. Их нѣжно-розовѣющія тѣльца, закрытые глазенки со снѣговыми рѣсницами, смутно-сладостное чмоканье, все отзывало первобытно-утробным.

— Это свинья не нѣмецки, это шведская порода, объяснил хозяин. — Шведская свинка, я люблю ее.

Чухаев, довольно плотный, в гимнастеркѣ и военной фуражкѣ, с фельдфебельскими рыжеватыми усиками, покровительственно хлопнул его по плечу.

— Показывай, Матвѣй Мартынов, все без утайки. Что у тебя имѣется, мы должны в самой точности знать. Служба. Ничего не попишешь. Мы волсовѣт, а над нами уисполком.

Похлёбкин, брюнет с длинными усами и не вполнѣ чистым лицом, бритый, в обмотках и заломленной фуражкѣ, потянул носом.

— Разумѣется дѣло, что исполком. Там смотри какіе черти сидят. С ними шутки плохи.

И Матвѣй Мартыныч показывал все, на совѣсть, шведских свиней и русских, іоркширов и беркширов, поросят и совсѣм откормленных, розово-сальных, начинающих прозрачнѣть жиром, засыпающих боровов — как бы просящихся уже под нож.

Под конец повел он гостей в подвал, гордость Мартыновки — на цементѣ и бетонѣ, с

цинковой крышей, глубоко ушедшій в землю. Там хранился картофель для свиней и жмыхи.

— Оборотистый ты человѣк, Матвѣй Мартыныч, сказал Чухаев, когда вышли на свѣт Божій и корявые пальцы хозяина повернули ключ в замкѣ. — Ты вполнѣ основательный. Жил-бы в своей Латвіи, да добро наживал-бы. Чего ты сюда забрался? Что у нас, тихая жизнь, что-ли? У нас, брат, ре-во-лю-ція! Понимаешь? Мы с Похлёбкиным к тебѣ посланы твоих свинухов провѣдать, и тебя под наблюденіем держать, там сколько ты в совѣт должен и, скажем, в исполком, и чтобы число твоих свиней не превышало... па-анимаешь? — как полагается для трудового хозяйства!

Матвѣй Мартыныч засмѣялся.

— Ничего мнѣ плохо не будет, я хорошій латыш, я со всѣми в миру, и с царскими был, и с совѣтскими... я все сам, своим горбом нажил, и сам все построил... Пойдем, Иван Григорьич, закусим. У меня настоечка одна очень хорошая, мы будем с грибком пробовать.

Через большой двор, за которым глухо гудѣл осенній вѣтер в рощѣ, направились они к низенькому неказистому домику Матвѣя Мартыныча.

— Марточка, вот мы пришли. Так у тебя готов-ли гусь, мы уже немножечко устали, нам слѣдует подкрѣпиться...

Матвѣй Мартыныч крикнул это из темных сѣнец в открытую дверь кухни, гдѣ жарко пылала печь. Отблески огня легко, таинственно лизали пол, ярко сіяли в мѣдных кастрюлях. Худая женщина, в озареніи свѣта, рѣзала на

столѣ печенку. Мускулистая ея рука была запачкана кровью.

— Готово, Матвѣй Мартыныч. — Анна, неси рюмки, обратилась она к высокой и сильной дѣвушкѣ, перетиравшей посуду.

Матвѣй Мартыныч провел прiѣзжих через низенькую горенку в тоже низкую и темноватую столовую. Стол под грубою скатертью был уже накрыт. Сквозь засиженное мухами оконце все тот-же двор, все с той-же лошадью совѣтских. Из другой двери выглядывала двуспальная кровать. У стѣнки, под портретами каких-то латышей в сюртуках, под группою, изображавшей пѣвческое общество, стоял маленькiй столик с засохшей чернильницей, бумагами и старыми накладными. На одной бумажкѣ, на которую мимоходом взглянул Чухаев, было напечатано: «Хутор Мартыновка, экономiя Матвѣя Гайлиса». Матвѣй Мартыныч взял эту бумажку не без гордости.

— Мой папаша был Мартын, и он меня немножко научил трудиться, и мой сынок Мартынчик, то я в честь Мартына и назвал усадьбу. Конечно, мартемьяновски мужики недовольные, мои сосѣди, потому что прежде это было господина Ушакова имѣньице, и завсегда называлось Мартемьяновка. Но я десять лѣт здѣсь живу, и я могу свой дух заводить.

Анна внесла на подносѣ нѣсколько шестиугольных рюмок и два узких блюда с груздями и рыжиками.

— А вот теперь-то и за водочку мы начнем, это не то, чтобы самогон, от котораго глаз про-

падает, это водочка из аптечнаго спирта, на корешкѣ, на лимонных корочках...

Началась проба. Выпивали «раз два по третьей и никаких шариков», «еще по одной и безо всяких рябчиков» — с тѣми сладостно-безсмысленными прибаутками, которыя так любят русскіе пьяницы и картежники. Пили под огурчик и под груздя, под гусиный пупок. Матвѣй Мартыныч только фыркал, поводил щетинистыми бровями. Чухаев пил ровно. Похлёбкин быстро замаслился — завивал черный ус, чаще других обращался к Аннѣ.

— Вы у нас рѣдко в Серебряном бываете. А почему? Например, там в Народном домѣ даже очень интересно. Ставятся пьесы, ребята танцуют. Да и барышни. Даже Немѣшаевы, и Аркадій Иваныч заходят. А я как раз недавно сам на сценѣ играл, в комедіи Островскаго. Очень смѣялись.

— В этот раз не пришлось быть, а вообще бываю, отвѣтила Анна. — И с Немѣшаевыми встрѣчаюсь, с Леночкой и Мусенькой... и с Аркадіем Ивановичем.

Она произнесла эти слова как-то полно, но туго, точно-бы вообще отвыкла разговаривать. Темныя и довольно густыя ея брови, близко сходящіяся, давали лицу нѣсколько суровое выраженіе, сквозь которое прорывался однако яркій и тайный блеск. Каріе глаза глядѣли замкнуто. Вряд-ли в них было много откровенности. И даже смугловатый румянец на щеках не особенно веселил. «Дѣвка первый сорт», без слов, всѣм существом подумал Похлёбкин. «Сумрач-

ная дѣвка, а хороша. Откуда ее такую раздобыл латыш?»

— Анна Ивановна, вам разрѣшите нацѣдить?

— Налейте, сказала Анна, и протянула средней величины стаканчик. На половинѣ его Похлёбкин пріостановился. — Не жалѣйте, наливайте полный. Я не опьянѣю.

И открыв рот с очень бѣлыми, крѣпкими зубами, она медленно выпила все до дна.

— Кушайте гуся, еще по кусочку, вот тут с капусткою, говорила гостям Марта — ея жилистыя, очень сухія руки мелькали во всѣх концах стола. Матвѣй Мартыныч занялся Чухаевым. Они сидѣли на уголку и бесѣду вели серьезную.

— Ты, Матвѣй Мартыныч, то должон понять, какое теперь время, говорил Чухаев вполголоса, медленно и внушительно — он сильно уже выпил, глазки стали красны, но держался, как иногда пьяные — еще солиднѣе, чѣм трезвый. — Ты позабывать не можешь, что теперь ре-во-лю-ція, как я тебѣ уже доложил. Погляди на меня. Я второй по зажиточности во всем Серебряном, у меня и землица, и пчельня, и лошадки, и живность, то-сё другое-третье, да я не дурак, чтобы всѣм этим гусей дразнить. Я, может, и тебя не бѣднѣй, но должон — он совсѣм понизил голос — себя пред односельчанами в аккуратѣ держать. И держу. Все лишнее норовлю спустить — коровенку-ли, лошадь, да и мучку, мед, все обмѣнять стараюсь... ну, а знаешь, иной раз и пріѣзжему на деньжонки продашь, а потом их в Москвѣ на доллара обмѣняешь... Теперь ,брат, не спекульнул то и дурень. Ты-жс подумай, свиньи-то твои какія... Про тебя вся

округа знает, что мол у мартемьяновскаго латыша такія свиньи, что и прежнему времени впору... Мой тебѣ пріятельскій совѣт, ты как нибудь это тово... сокращайся, Матвѣй Мартыныч, ну, свинушку спустил, деньжонки под половицу, или в подвалѣ закопал, и шито-крыто...

— Выпьем еще, от хорошей водочки тольки умнѣй будешь, да ты и так умный, я тебя как хорошій человѣк всегда уважу, говорил Матвѣй Мартыныч. — А я честный латыш, я против новой власти ничего не имѣю, я завсегда готов для ней того-другого... Я уже велѣл Мартѣ в телѣжку один окорочек под сидѣнье — там крышка приподымается — гусей парочку в корзинку... а твой товарищ кажется из охотой занимается? У меня дробь очень хорошій есть, совершенно прежній дробь, и порох для патронов... вот так, эта водочка на особом корешкѣ. А за добрый совѣт спасибо.

Гусь у Марты оказался знаменитый. Трудно было оторваться. Пріѣзжіе старались на совѣсть. Лица раскраснѣлись, губы и даже щеки лоснились, на черном усѣ Похлёбкина так и засѣла недоѣденная шкурка. Сквозь два небольшіе-же оконца глядѣл со двора угасающій осенній русскій день, когда вечерняя заря не горит над горизонтом, ровны сѣрыя облака на небѣ, бурѣет в полѣ копенка вики неубранной, вѣтер треплет картофельную ботву, да вдалекѣ одинокій жеребенок, тоненькій, длинноногій, призраком стоит — а вдруг тонко заржет, распустит хвост и вѣтерком понесется домой. Смутныя сумерки обозначились, когда Анна вышла на двор, своею крѣпкою походкой. Взяла ведро, направилась к

колодцу, куда ходила каждый вечер. Изъ хлѣвов сонно хрюкали свиньи. Куры сидѣли уже на насѣстах, гигантскій вяз хмуро бурѣл над домиком Матвѣя Мартыныча. Анна шла, слегка опустив голову, нагруженная своим одиночеством. Тайно, сладостно было на сердцѣ. Удивительно чувство укрытости. Пусть там допивают водку и заѣдают ее мятными пряниками, тот мір ушел, начался новый. В нем нѣкоторыя слова, предметы, дни, звуки, имѣют магическое значеніе. Одно из таких магических слов она выпустила сегодня на волю, оно странно и чудесно отдалось в столовой «экономіи Матвѣя Гайлиса», а теперь шло за нею и с нею, как живое существо. Самый звук его был необыкновенен.

В это время пріѣзжіе грузились в свою телѣжку. Чухаев держался крѣпче, Похлёбкин едва двигал ногами. Через плечо у него был надѣт ягдташ, а на другом боку пороховница. В рукѣ он держал мѣшочек с дробью — очень тяжелый и очень для него радостный. Он слегка раскачивал его и хлопал им себя по колѣнкѣ. Матвѣй Мартыныч отвязал лошадь, взнуздал ее и подал возжи уже сидѣвшему Чухаеву. Похлёбкин держался за Чухаева, обняв его.

— А ты хорошій человѣк, Матвѣшка, ты человѣк сердечный, хотя и не русскій, — кричал Похлёбкин. — Я тебя люблю. Я... хочу тебя цѣловать.

Матвѣй Мартыныч захохотал, Чухаев тронул лошадь.

— Я хорошим гостям завсегда рад, говорил он, идя рядом. — А тут, Иван Григорьич, у корзиночкѣ сзади пара лучши гусь. И окорочек.

Чухаев пожал ему руку. Тяжелобрюхій конь, конюшни Немѣшаевых, взял вялой рысью. Телѣжка пересѣкла большой двор, повернула направо по дорогѣ через рощу. К ея опушкѣ, гдѣ у канавы, окружавшей прежнее имѣніе Ушакова — нынѣ хутор Мартыновку — был колодезь, шла Анна, опустив голову, считая шаги. Через каждые пять шагов она произносила про себя одно слово. Никто не слыхал, никто не знал и не мог даже вообразить, о чем она думает. Это доставляло ей таинственную радость.

Телѣжка загремѣла совсѣм рядом. Чухаев слегка пріостановил коня.

— Паз-звольте спросить, произнес он не вполнѣ твердо: тут ка-ак будто лѣтничек у вас есть на Машистово, прямиком... ес-ли н'ошибаюсь, налѣво?

Занавѣс поднялся, Анна опять оказалась на сценѣ.

— Первый поворот, около обгорѣлой ракиты, сказала она.

— Покорнѣйше благодарим.

— Если-бы не темнѣло, то можно и не заѣзжая в Машистово, там есть пѣшеходная тропка, по ней тоже ѣздят... прямо бы выѣхали к Серебряному...

Похлёбкин, покачиваясь, замахал ей и послал воздушный поцѣлуй, Чухаев стегнул коня и телѣжка вновь загремѣла. Анна опять осталась одна. Она подошла к колодезному срубу, около котораго была свѣже-натоптана глина, зацѣпила ведро за крючок и медленно стала спускать его. Ведро кое-гдѣ толкалось о сруб, позвякивало, дальше и глуше уходило в его осклизлую темь,

сейчас казалось — в бездну. Потом шлепнулось о воду. «Серебряное»... шепнула Анна. «Машистово»... Ведро булькало. Она подождала минуту, потом налегла на отяжелѣвшую веревку, стала тащить. Замѣтив темный пушок на своей рукѣ от локтя к запястью, вспомнила что-то и вновь, улыбнувшись слегка, как в колодезь ушла в свое подземелье.

Темнѣло. Вдалекѣ громыхала еще телѣжка. Анна вытянула ведро, поставила его и присѣла рядом на срубленную осинку, от которой горько и нѣжно пахло свѣжим соком, ободранной корой. «Сейчас навѣрно Леночка и Муся играют в карты в гостиной, а Аркадій Иваныч по обыкновенію у них, курит или играет на гитарѣ». Она посидѣла минуту, потом встала. Темнота надвигалась. Анна закрыла глаза, выпрямилась, и взяв ведро, слегка наклоняясь вбок от его тяжести, пошла домой.



— Я очень рад, что у нас были эти совѣтски, говорил Матвѣй Мартыныч, отстегивая голубую подтяжку. — Теперича они уѣхали веселы, и Матвѣй Мартыныч так устроит, что они будут еще веселѣй, Матвѣй Мартыныч понимает, что иной раз и свинку не жаль для порядочных людей, хотя, разумѣйтся, они и сволочь, но свинка и-всѣх и-дѣлает добрыми... ха-ха-ха...

Анна убирала остатки ѣды. В столовой пахло водкой, гусем, скатерть залита была жирным, и воздух тускл, тоже жирен в слабом свѣтѣ висѣвшей над столом лампы с коническим пламенем. Марта, полураздѣтая, возилась в спальнѣ.

— Мы их хорошо угостили, сказала она. — Матвѣй Мартыныч, как ты нашел гуся?

Матвѣй Мартыныч налил себѣ в столовой воды, икнул и жадно выпил. Бархатная, темная шерсть курчавилась под глубоко разстегнувшимся воротом его рубашки.

— Марточка, гусь был хорош. Анна, ты почему мало ѣл гусь? Ты здоровая дѣвушка, ты и - должна хорошо кущать.

— Я, дядя, довольно съѣла. Правда, гусь отличный.

Матвѣй Мартыныч положил ей на плечо свою четырехугольную руку с короткими пальцами. Небольшіе глазки его блеснули.

— Хорошій дѣвушка, работай, трудись. Кончится все, я тебя замуж выдам, за солиднаго человѣка, сама хозяйство будешь вести, тебя муж будет любить.

Он нагнулся к ея уху и вполголоса шепнул:

— Ты для мужчины сладкая, как гусь с брусникой.

Анна слегка усмѣхнулась.

— Меня только съѣсть не так легко, как гуся...

Матвѣй Мартыныч захохотал.

— Матвунчик, крикнула из спальни Марта. — Иди, взгляни, как хорошо спит Мартын.

Матвѣй Мартыныч вошел в спальню, гдѣ в маленькой кроваткѣ спал законный, от честнаго брака, Мартынчик, такой-же здоровый и веселый, как он сам, тот, для кого вот он трудится в потѣ лица и кому — когда «все это» кончится — передаст годами нажитое, наработанное.

Марта стояла у кроватки. Свѣт свѣчи с комода освѣщал мальчика со свѣтлыми волосами, миловиднаго, с прозрачными, и как это бывает у спящих дѣтей — жалкими вѣками, всегда придающими грустное выраженіе.

— У-у, миленькій Мартынчик, сказал Матвѣй Мартыныч, и его квадратное лицо сразу распустилось, стало мягче и влажнѣй. — Какой красавчик лежит, ты не находишь, Марта?

Марта взяла с комода свѣчку, чтобы получше освѣтить свое твореніе. Ея худое, довольно красивое лицо с темными глазами и очень крупными, малиновыми губами, содрогнулось от восторга и гордости. Матвѣй Мартыныч нагнулся, щекоча лоб ребенка усами, дыша на него перегаром выпитаго, и поцѣловал в лоб. Мальчик во снѣ поморщился, потянулся, и стягивая с себя одѣяло, перевернулся на другой бок, обнажив плечо. Марта мгновенно укрыла его.

— Хорошо, хорошо, сказала она мужу: Мартынчик здоров и все в порядкѣ, но не мѣшай ему своими нѣжностями.

Окончив уборку, Анна поднялась наверх, в маленькую комнатку. Вот день и кончен. Она раздѣнется, потушит свѣт, перекрестится и растянется на скромном, жестковатом своем ложѣ. Сон накроет ее. Настанет таинственный мір, в который мы еженощно — и так привычно, без ужаса! — погружаемся, как дай Бог погрузиться в смерть.

На этот раз она не успѣла еще заснуть, как на лѣсенкѣ раздались осторожные шаги человѣка в туфлях.

— Анночка, сказал негромкій голос, слегка глухой. — Ты уже спишь..?

— Нѣт. А что?

— Я тебѣ забыл сказать... нужно будет у Серебряное съѣздить. Немѣшаев просили двух поросеночков, там они хотят выкормить.

— В Серебряное... когда-же?

— На эти дни, на эти дни...

— Завтра?

— Не так завтра, как придется этой недѣли.

— Зачѣм-же ты сейчас пришел об этом говорить?

Матвѣй Мартыныч побурчал что-то и посопѣл.

— Я и-думал, ты еще не спишь.

Анна привстала на постели.

— Иди, иди, ступай, выпил сегодня много.

Он слегка приблизился. В темнотѣ она его не видѣла, но найдя его руки, крѣпко взяла их, сжала, шепнула повелительно:

— Ступай.

В этих ея руках почувствовал Матвѣй Мартыныч такую силу, точно огнем прохватило его.

— Я ничего... я не подумай, Анночка, ты не тово... я тебя рѣдки вижу.

Анна тихо засмѣялась.

— Каждый день.

— Мнѣ не заснулось, я тольки тебя по дѣлу и хотѣл видѣть без никого.

— Ну вот, и иди. А то Марта Бог знает, что подумает. Значит, в Серебряное? Хорошо.

Когда он вышел и осторожно спустился, Анна притворила дверь, вновь легла. Ее про-

хватила легкая дрожь. «Вот он, дядя. Ну, да впрочем... ничего плохого он мнѣ и не дѣлает».

Все-таки, она нѣсколько разволновалась, заснуть сразу, как обычно, не смогла. В головѣ вертѣлся весь нынѣшній день, пріѣзжіе, потом этот странный разговор сейчас — к своему удивленію, никакой непріязни к Матвѣю Мартынычу она не ощущала. «Мишка, медвѣдь...» сонно подумалось. «Косолапый». Но потом иныя слова встали в мозгу — ѣхать в Серебряное. «Серебряное, Машистово...» Да, хорошо, вздохнула она как-бы со сладкой покорностью. Слеза поползла в темнотѣ по загорѣлой щекѣ. Матвѣй Мартыныч, хутор, хозяйство — это все пустяки.

В сущности, никаким дядей Матвѣй Мартыныч ей не приходился. Отца она вовсе не помнила. Но знала вотчима. Мать плохо жила со вторым мужем. Анна от него не терпѣла, но в мѣщанском домикѣ средне-русскаго городка, гдѣ мать служила на почтѣ, а вотчим мелким страховым агентом, видѣла и ссоры, и пьянство, и даже драки. Нечѣм было-бы ей помянуть дѣтство! Да оно и рано кончилось. Мать умерла. Марта, дальняя родственница со стороны матери, тогда только что вышедшая за Гайлиса, взяла ее к себѣ, увезла под Ригу. Там Анна жила и училась, привыкла звать Матвѣя Мартыныча дядей, а Марту тетей — вошла, как-то боком, как боком жила и в дѣтствѣ — в семью. Кончив школу, с ними-же перебралась и сюда, когда Матвѣй Мартынович снял хутор — не то родственница, не то дочь пріемная, не то прислуга. Она молча работала, молча спала и молча ѣла, и считала, что живет так — значит, иначе и не

приходится. Не о чем думать, нечего мудрить. За стѣнами мартемьяновскаго хуторка безконечныя поля, лѣсочки и овраги, деревни, села, города необъятной Россіи. Мір велик, недосягаем, грозен в мрачной своей силѣ. Вот и сейчас долгая ночь над ним. Глухим, дочеловѣческим гулом гудят березы по канавѣ за хутором. Спит Матвѣй Мартыныч, и Марта, и Анна, и свиньи в хлѣвах, и индюшки, и куры. Пѣтух, тайным зовом пробужденный, прокричит в свой час ранній, горькій сигнал к свѣту — а еще звѣриная темнота над землей. Люди его не услышат.

Но в городкѣ над Окой именно вот теперь подымается, зажигает свѣт в своей лачужкѣ у рѣки нѣкто Трушка, извѣстный и уважаемый человѣк, имѣющій связи и в у-те-че-ка и в ор-те-че-ка, как ранній утренній пѣтел он начинает свой день, ибо дѣл много, а жизнь коротка, всѣх недорѣзанных, правда, не зарѣзать, и всѣх неограбленных не ограбить, все-же нельзя лѣниться, ре-во-лю-ція — какое время! Грѣх его упустить.

СЕРЕБРЯНОЕ

Анна нѣсколько запоздала. Уже смеркалось, латунная, холодная заря узко лежала вдали, над синѣвшими лѣсами. Лошадь плелась рысью. В корзинкѣ повизгивали поросята, колеса телѣжки шли по неровной колеѣ, сухія травы ошмурыгивали их. Пахло горько и остро полынью, шлеей, лошадью, прохладою сумрачной осени. Над купою парка вздымалась колокольня Серебрянаго — перерѣзала зарю. Анна проѣхала мимо кладбища, мимо канавы стариннаго парка с голыми липами, гдѣ грачи орали сложно, мучительно, взвиваясь в небѣ медленными водоворотами, и остановилась под елочками у большого бѣлаго дома. Его стеклянное парадное крыльцо было заперто. Анна привязала лошадь, вынула корзинку с поросятами, и тяжело ступая грубоватыми сапогами, двинулась к черному входу, гдѣ стояла бочка, бродили утки, валялись отбросы. В кухнѣ никого не было. Анна поставила корзинку на пол, отворила дверь в коридор и почти столкнулась с черноволосой, черноглазой дѣвушкой в красной кофтѣ, легкою походкой входившей в кухню.

— Аня, засмѣялась она: в платкѣ, высоких сапогах! Каким вы нынче героем!

— Я привезла Марьѣ Гавриловнѣ поросят, Матвѣй Мартыныч извиняется, что задержался, все некогда было...

— А-а, Мартыновы поросята... вы там все у себя свиней разводите, ха-ха-ха... — Леночка засмѣялась весело и от души, точно разведеніе свиней вообще казалось ей очень смѣшным дѣлом. Быстрой походкой подошла она к корзинкѣ и приблизила к ней каріе, нѣсколько близорукіе глаза.

— Ха-ха, вот они, Мартыновы дѣтишки, хрюкалки! Чудные. Ну, пойдемте к нам, как раз чай подали.

И Леночка тою-же легкою и беззаботною походкою, поправив слегка платок, накинутый сверх кофты, прошла коридором в темную и холодную прихожую, из нея толкнула дверь в большую комнату, гдѣ за чайным столом сидѣло нѣсколько человѣк.

— Мама, Аня привезла от Мартына поросят. Знаешь, там эти мордышоны.

Анна сняла в передней свиту, сунула в карманы ея рукавички и нѣсколько угловато вошла в комнату Марьи Гавриловны, наспѣх теперь обращенную в столовую. Марья Гавриловна, спокойная, кареглазая дама лѣт сорока пяти, с небольшой просѣдью, курила из мундштука, и к извѣстію отнеслась равнодушно.

— А-а, сказала она, и выпустила изо рта поток дыма: давно жду. Мы их выкормим.

Самовар на столѣ сильно клубил. Окна начали запотѣвать. Однако, в два большія, выходившія в сад, с далеким видом за рѣку, глядѣло умиравшее холодно-серебряное небо сквозь

голубыя ели у балкона — ели рѣдкостныя, калифорнійскія. Спиною к зарѣ сидѣл за столом высокій человѣк в поддевкѣ, с длинными усами. Рядом с ним Муся и барышня с колечком зачесанными на щеки прядями.

Сердце Анны привычно похолодѣло, она молча поздоровалась со всѣми, сѣла к Марьѣ Гавриловнѣ. Но блѣдный, серебристо-синѣющій свѣт зари, удивительныя колечки на щеках барышни и крупное, как показалось ей равнодушное рукопожатье Аркадія Ивановича вдруг поразили ее.

...— А вы там все со своими свиньями возитесь, сказала Марья Гавриловна почти дружелюбно. — Вот уж ваш дядюшка поразвел... — ха-ха... Ну, что-ж он с меня по знакомству, надѣюсь, за поросят возьмет подешевле?

Анна с ненавистью смотрѣла на свои крѣпкія, красныя руки, от которых пахло вожжами и дегтем. Никто не видѣл теперь ея высоких сапог, но ей казалось, что всѣ только о них и думают.

Леночка подошла сзади к Аркадію Ивановичу и взяла его за кончики усов.

— Аня, посмотрите на размѣры этих дворянских усов, это у тебя барскіе усы, Аркаша, ха-ха-ха... а теперь время знаешь какое, теперь нас вот того и гляди отсюда выставят. Могут сжечь, вообще, что угодно, потому что мы баре.

Аркадій Иваныч поймал руку Леночки и поцѣловал около локтя.

— Я, милый друг, барином жил, барином помру, меня поздно передѣлывать. Гдѣ моя ги-

тара? — обратился он к барышнѣ. — Вы, малютка, кажется ее гдѣ-то в залѣ оставили?

Он поднялся.

— Пока нас окончательно не доканали, я намѣрен жить так, как мнѣ нравится. Зала еще есть — хорошо. Камин там топится — прекрасно. Марья Гавриловна, я знаю около трехсот романсов, главным образом цыганщина.

Он улыбнулся своим темно-загорѣлым лицом, привычно подкрутил ус, поправил кавказскій пояс, стягивавшій еще приличную талію, и вышел с барышнями в залу.

«Почему она ко мнѣ обратилась на счет его усов?» мрачно подумала Анна. «Я тут при чем? Да хоть бы самые раздлинные, какое мнѣ дѣло?»

В комнатѣ быстро темнѣло. Папироса хозяйки закраснѣла в сумеречной мглѣ. Марья Гавриловна говорила привычно и длинно о том, сколько ей возни с птицей, как трудно с совѣтом, как беззаботны дѣвочки... впрочем, и сама она больше курила и философствовала, чѣм беспокоилась серьезно.

Да и как могло быть иначе? Такой тон раз навсегда был задан покойным Александром Андреичем для всей семьи. Александр Андреевич случайно получил наслѣдство. Не он строил этот дом, не он разводил парк и сажал под балконом голубыя ели. Все это свалилось ему с неба. Но нельзя сказать, чтобы он не пользовался полученным. Всегда в Серебряном были гости, шум, широкая жизнь. Даже кучера немѣшаевскіе рѣдко бывали трезвы, и немѣшаевскія выѣздныя лошади, в отличных шарабанах и ко-

лясках, не раз носили, выбрасывали сѣдоков в лощинках под разными Спицынами, Рытовками и Лунёвками. Александр Андреич любил гостей, танцы, музыку, вино, и всего этого было вдоволь. Деньги он раздавал направо и налѣво. В трезвом видѣ был общителен и весел, ходил лѣтом в длинных чечунчовых пиджаках, широчайших коричневых штанах и дорогой панамѣ, напоминая президента Фальера. Читал «Русскія Вѣдомости» и путано, умѣренно-свободомысленно говорил о политикѣ. Но выпив, становился несдержанно-дерзким. Это мѣшало ему в земской дѣятельности. Он раздражался и еще больше будировал.

Грудная жаба во время увела этого виднаго джентльмэна — до революціи он не дожил. Блюдо досталось Марьѣ Гавриловнѣ и молодежи. Захват земли, скота, переход на положеніе крестьян — ежеминутно могли и вовсе выгнать — все это для других обратилось-бы в глубокія страданья. Немѣшаевым помогала безпечность.

— Большевички забирают у нас все помаленьку и полегоньку, говорила Леночка, и хохотала, и даже находила время слегка кокетничать с заѣзжими коммунистами. — Скоро нас загонят в какой-нибудь хлѣв... ха-ха-ха...

Марья Гавриловна выражалась осторожнѣе, но тоже смотрѣла — ну, что-же, было богатство, считались первыми в уѣздѣ — и нѣт его, ничего, как нибудь проживем. И дѣйствительно, жили. Двоюродный брат Костя, застрявшій у них, основал маленькую артель, сам пахал и скородил на отведенном надѣлѣ, Леночка и Муся тоже работали больше, чѣм раньше, но по-

прежнему хохотали. И когда пріѣзжали оставшіеся сосѣди, играли в карты, дурили и танцовали — из большого дома их все еще медлили выселять.

Так протекал и сегодняшній вечер. Аркадій Иваныч в прежнія времена пріѣзжал из Машистова, в двух верстах, на парѣ в наборной сбруѣ, с кучером в плисовой безрукавкѣ. Теперь ходил пѣшком, но так-же держался молодцевато, как и в уѣздном городкѣ на земских собраніях, на обѣдах у предводителя и за билліардом в гостиницѣ.

Сейчас, в большом залѣ немѣшаевскаго дома, сидя на диванѣ окруженный барышнями, он пѣл «В час роковой» — небольшим, вѣрным голосом, аккомпанируя себѣ на гитарѣ, совсѣм также, как и тогда, когда чай не пили еще с сахаром в прикуску, когда не было роскошью мясо, и эта зала освѣщалась очень ярко. Важно лишь то, что вокруг, как и прежде, были женщины. Мусю и Леночку он знал еще дѣтьми. Но заѣзжая их кузина с колечками волос на подрумяненных щеках, в легеньких туфельках и шали дѣйствовала освѣжительно.

Когда Анна вошла в залу, пѣніе уже кончилось. Кузина держала в своей рукѣ руку Аркадія Иваныча, разсматривала линіи судьбы и улыбаясь, говорила ему что-то.

— Ну, да все равно, от себя не уйдешь, сказал Аркадій Иваныч. — В благодарность за гаданье разрѣшите вашу ручку.

И он поцѣловал ея пальцы.

— Анѣ погляди руку, крикнула кузинѣ Ле-

ночка. — Вон она у нас какой герой могучій, пожалуйте-ка сюда!

Сапоги Анны довольно явственно отдавались в залѣ. Теперь всѣ их дѣйствительно видѣли. Она покраснѣла и спрятала руку.

— Ну, уж мнѣ незачѣм.

— Отчего же, — сказала кузина ласково. — Я с удовольствіем. Дайте мнѣ вашу руку.

— Нѣт, благодарю вас, так рѣшительно отвѣтила Анна, и сѣла рядом с ней на диван, слегка скрипнувшій, что та с нѣкоторым даже недоумѣніем на нее взглянула. Аркадій Иваныч опустил глаза. Но Леночка захохотала, обняла ее.

— Аня, не мечите молній своими черными глазами, всѣ и так знают, что вы прельстительны... — Женя, обратилась она к кузинѣ: Аня у нас тут первая львица, несмотря на ея... суровый вид. Давно замѣчено об этих тихих омутах...

— Что вы говорите, Леночка, сказала Анна глухо: я просто работница...

— Ну да, однако-же... Леночка взглянула на Аркадія Иваныча и опять засмѣялась.

— Да вот у нас сегодня был Похлёбкин. Прямо ваше завоеваніе!

* * *

Кузина сѣла за рояль, начались танцы. Пріѣхали еще два недорѣзанных помѣщика. Танька накрывала к ужину, Муся и Леночка танцовали. Прошелся вальсом и Аркадій Иваныч, и Костя, и кузина, смѣненная Марьей Гаврилов-

ной. Анна-же сидѣла на диванчикѣ упрямо, сумрачно, чувствуя, что давно пора ѣхать и нѣт сил встать. С Аркадіем Иванычем она не сказала ни слова. Раза два пробовал он заговаривать с ней, ничего не вышло. «Ну, опять», подумал про себя. Анна отходила теперь от него, почти физически он ощущал в ней тучу темных, нервно-электрических сил, противостать которым невозможно. Он все знал заранѣе, но с какой-то горькой легкостью, будто нарочно, играл в веселость.

Было уже довольно поздно, когда Анна вышла к лошади. Кто мог-бы сказать, что она поступила умно, просидѣв до полуночи, выѣзжая одна в черную, вѣтрено-безпросвѣтную ночь? Но она именно так поступила, а не иначе — хотя ей и предлагали ночевать.

Лошадь тронулась. Из-под елок со стороны свѣтившагося в темнотѣ дома выступила высокая фигура с огоньком папироски. Большая рука взялась за крыло телѣжки и знакомый, столь знакомый голос сказал:

— Подвезешь меня?

— Садитесь. — Огонек перемѣстился, теперь он был нѣсколько выше Анниной головы. Телѣжка накренилась.

Ѣхали дорогой мимо парка, шагом. Вѣтер гудѣл в липах. Иногда вѣтка задѣвала за дугу, слегка хлестала сидѣвших. Огни усадьбы остались сзади. Колокольню церкви нельзя уж было разобрать в кромѣшной тьмѣ. Но кладбище ощутила Анна горьким, широким дуновеніем.

— Ты все на меня сердишься? спросил Аркадій Иваныч. — Вот народец-то! Дай мнѣ воз-

жи. А сама хорошенько запахнись, и руки — рукав в рукав свиты.

— Вы вольны с кѣм угодно шутить и кого угодно любить.

За свою бурную, многоопытную жизнь Аркадій Иваныч не раз слыхал эти и подобныя им слова. Относиться к ним привык как к неизбѣжному неудобству. Но сейчас стало дѣйствительно грустно.

— Аня, повторил он мягче: да вѣдь что-же ты, правда... ну, я болтал там, на гитарѣ играл... что-же такого? Правда, жизнь сейчас невеселая, неужели и похохотать нельзя?

В полѣ вѣтер задувал сильнѣе. Лица Анны нельзя было разсмотрѣть. Но сквозь свое смутное уныніе ясно ощущал Аркадій Иваныч рядом с собой черную тучу. Туча молчала. Разряда не было. На каком-то толчкѣ Аркадій Иваныч слегка охнул.

— Вот, сказал тихо: все в почку отдает.

— Будете с Похлёбкиным самогон пить, еще не то наживете.

Когда подъѣзжали к Машистову, Анна взяла у него возжи.

— Что-ж ты одна в такую темень поѣдешь? Я бы тебя проводил...

— Слѣзайте, сказала Анна. — Ничего со мной не случится. Не маленькая.

Аркадій Иваныч вздохнул и слѣз. Обойдя телѣжку, хотѣл на прощаніе обнять и поцѣловать Анну. Она его оттолкнула.

— Цѣлуйтесь с барышнями. От меня хлѣвом пахнет.

— Сумасшедшая, вслух сказал Аркадій Иваныч. — Совсѣм ты полоумная.

— Ну и слава Богу, что полоумная, крикнула Анна и дернула вожжи.

Аркадій Иваныч хмуро зашагал новым садом к себѣ в имѣньице, Анна-же погнала лошадь домой. Вынула кнут, нѣсколько раз хлестанула коня. Он рванул галопом, потом пошел крупной рысью. Телѣжку подкидывало. Она гремѣла в пустынных полях, гдѣ все было — зловѣщій мрак. Вѣтер гнал ее. Аннѣ нравился этот глухой грохот. Ей нравилось также стегать коня, она изо всей силы вновь вытянула его раза два — он тяжело и свирѣпо брыкнул задом, опять помчал. Дух захватывало. Что-же, чудесно! Пусть вывалит ее под буерак, стукнет в темнотѣ тяжелым колесом по виску, да покрѣпче... Сердце болѣло, но в самой боли была раздирающая сладость. «Страшно, как страшно», могла бы сказать Анна, но мыслей и слов в головѣ не было, просто кипѣло вглуби. Так, десятилѣтней дѣвочкой, послѣ того, как вотчим схватил мать за волосы и ударил о край стола, стояла она ночью, в одной рубашонкѣ у раскрытой в метель форточки, вдыхала ледяной воздух и молила послать ей смерть.

Никто не встрѣтился ей в полночный час. Лишь собаки залаяли, когда взмыленный конь подкатил к Мартыновкѣ. По двору двигался огонек фонаря.

— Я было и-заснул, да и встал, что тебѣ долго нѣт, сказал Матвѣй Мартыныч: слышу, собаки лают, думаю, навѣрно это Анночка пріѣхал.

Он помог ей распрягать лошадь. Анна говорила быстро и возбужденно. Можно было подумать, что она нѣсколько пьяна. Когда выходили из конюшни, Матвѣй Мартыныч вдруг обнял ее. Анна засмѣялась, слегка его отстранила. И присѣла на край стоявшей у ворот бочки. Он крѣпко поцѣловал ее в шею, около уха.

ДѢЛА ЖИТЕЙСКІЯ.

Хутор Мартыновка по своему хозяйству стоял, конечно, выше окружающаго — Матвѣй Мартыныч мог гордиться.

Земли при нем было немного, поле давало главным образом корм свиньям — всякія свеклы, картофель, красные клевера, рѣпу. Свиней держали в большом порядкѣ — этим завѣдывали Анна и Марта. Дѣйствительно, их мыли, постоянно чистили хлѣв и закуты, кормили с правильностью клиники — трижды в день.

Матвѣй Мартыныч всегда был доволен и собою, и окружающим. Он похлопывал боровов и поросных свиней с тѣм-же ощущеніем полнаго довольства, как и свою жену. Все казалось ему в благополучном свѣтѣ. В центрѣ мірѣ стоял он сам, «хорошій латыш», Матвѣй Мартыныч, который все знает и все понимает, так что спорить с ним безполезно. С великим благодушіем рѣзал он собственноручно тѣх-же самых боровов, за вѣсом и здоровьем которых слѣдил при жизни их с такой любовью. Он и рѣзал с любовью. Они жили для его, Матвѣя Мартыныча, цѣлей, он на них трудился, пропахивал для них картофель, косил овес, просо, ѣздил вдаль за жмыхами — он же распоряжался и их жизнью. И это было так. Это было хорошо.

Анна и Марта выхаживали поросят. Этой осенью у каждой было по опоросившейся свиньѣ — у Анны Матрена, у Марты свинья называлась болѣе поэтически — Люцiя, это напоминало чѣм-то, отдаленно, Мартѣ родину — и нравилось. Впрочем, Марта меньше всего была склонна к сантиментальности. В ея жилистых руках, красивых глазах и нѣсколько странно-большой груди всегда Аннѣ казался особый холод. Марта тоже иногда рѣзала свиней, и тоже удачно. Единственный человѣк, котораго боялся, и перед кѣм отступал Матвѣй Мартыныч, была именно Марта.

— Ты Анночка очень хорошiй дѣвушка, говорил он: но тебѣ никогда так матрешкински-их не выкормить, как люцински-их Мартѣ.

— Ну и не выкормить, отвѣчала Анна: и шут с ними. Все только под нож, в одну утробу.

— А, ты не понимаешь, ты всегда со своими словами. Тебѣ-бы только зря кормить, что тебѣ потом, с ними в розовую мордочку цѣловаться?

— Не знаю, что мнѣ с ними дѣлать, а только радоваться нечему. Ну, поросята и поросята. И в концѣ концов зарѣжут их.

Против этого возражать было-бы трудно. Вот и теперь, розовые дѣтишки Матрены, в первые дни своего бытiя полуслѣпые, смутно тянувшiеся только к сосцам матери — именно они-то и предназначались к убою, и как раз их Анна отняла на четвертой недѣлѣ от матери, тогда как мартину Люцiю все еще сосали. Это произошло через нѣсколько дней послѣ того, как Анна возвратилась из Серебрянаго. Матрена, запертая в одиночествѣ, сумрачно хрюкала, тол-

калась из угла в угол, подымая бѣлесое рыло и вопросительно поглядывая жалкими глазами с бѣлыми рѣсницами. Отнятые поросята безсмысленно топтались, повизгивали в другом хлѣву. Анна налила им в корытце молока с овсянкой и долго смотрѣла, как они безпомощно совали туда рыльца. «Ѣшьте, ѣшьте, хорошо еще, что ничего не понимаете! Вот так-то — ну, иди» — она слегка подтолкнула носком сапога одного отбившагося, направляя его к корыту.

Они чмокали, но вяло. Анна смотрѣла на них пристально, внезапная тяжесть сжала ея сердце. Не дожидаясь, пока они доѣдят, она вышла из закутки.

Был солнечный день, рѣдкость в началѣ ноября. Блѣдный свѣт лежал на цинковой крышѣ Мартынова подвала, пестрою тѣнью одѣвал стоявшую телѣгу, растворенныя ворота сарая, глубина котораго была полна тьмы, лишь кое-гдѣ прорѣзаемой узким лучем сквозь щель. Пахло такой крѣпкой настойкой осени, в нѣжной лазури так пронзительно трепетал золотой, к удивленію еще необлетѣвшій лист яблони за домом, что Анна на минуту пріостановилась, глубоко вздохнула, потянулась. Боже мой, как хорошо! Даже слезы выступили. Как хорошо и как безмѣрно грустно! Разумѣется, она сумасшедшая, в ней дикая кровь, что она натворила тогда, как себя вела! Все это вздор. Вот если-бы он тут сейчас был, если-бы взялся рукой за эту дверь, она поцѣловала-б мѣсто, гдѣ была рука, и наклонившись к землѣ, к этой сухой уже, мертво-коричневой травѣ, тоже ее поцѣловала-бы. Что сдѣлать в ясный, терпко-колкій день ноябрьскій,

когда чувствуешь, что молод, силен, любишь, когда так ужасно хочешь счастья... Закричать, запѣть? Хорошо-бы это приняла Марта, Марвѣй Мартыныч!

Марта как раз выходила от своей Люціи. За руку вела маленькаго Мартына, шла спокойно, в теплой вязаной кофтѣ, особенно выдававшей ея большую грудь. Каріе глаза смотрѣли пристально, скорѣй сочувственно. Увидѣв незапертую дверь хлѣва с поросятами, Марта заглянула туда.

— Свинушки, сказал мальчик, и протянул руку в сторону поросят.

— Свинушки, свинушки, повторила мать. — Вырастешь большой, у тебя будет тоже много свинушек.

— Ба-альших! сказал мальчик важно.

— Ба-альших! повторила Марта. Красивые ея глаза зажглись гордостью. Мартын разрастался в них из маленькаго латышскаго мальчика в нѣкоего героя поэмы — так могла-бы объяснить Марта, если-бы знала, что такое герой и что такое поэма.

Но пока что она сказала Аннѣ:

— Там поросята не доѣли. Зачѣм-же ты лишнее наливаешь? Как полагается: сколько им нужно, столько и давай.

— А? переспросила Анна.

Марта посмотрѣла на нее с недоумѣніем. Холодный огонек слегка блеснул в ея глазах.

— Ты-же вѣдь отлично знаешь, о чем я говорю.

— Ах да, конечно...

Анна вдруг стала поправлять себѣ волосы —

темный завиток выбился из под туго завязаннаго на головѣ краснаго платочка. Черные, большіе глаза были полны отраженнаго блеска и дрожи. В ея движеніях и видѣ все показалось непріятным Мартѣ, точно-бы раздражало.

— Что это, правда, ты...

— Я сейчас уберу, сказала Анна и быстро направилась вновь к хлѣву.

Марта тоже дѣйствовала на нее странно, нельзя сказать, чтобы радостно, хотя дурного она ей ничего не дѣлала. Анна привыкла считать ее не то хозяйкой, не то старшей родственницей, но жилистыя, очень крѣпкія руки Марты, и ея губы вызывали легкую как-бы тошноту. Марта была чиста тѣлом, Аннѣ-же казалось, что от нея пахнет мясом. Ощущеніе это было внѣразумно и даже таинственно, но непріятно.

Анна быстро убрала остатки овсянки, подмела, подчистила в хлѣвѣ, довольная теперь, что она одна, довольная даже и тѣм, что прядь волос, слегка курчавившихся, вновь выбилась из под платочка. Она улыбнулась — хорошо было то, что опять появился Аркадій Иваныч (он любил эту прядь!), Аркадій Иваныч во весь свой огромный рост, с большими мягкими руками, в поддевкѣ, могучих усах, свободно присутствовал, как нѣкій живой великан в этом хлѣвѣ. Он зажигал удивительным свѣтом косыя полосы из оконца, благодаря нему пылинки, вплывавшія из разных закоулков, переливались поражающею радугой. В нем была крѣпкая настойка нынѣшняго дня, трепет золотого листа, пронзающая лазурь неба. Она не вишла его уже с недѣлю. Как невозможно долго!

— Я хочу тебя видѣть, вдруг вслух сказала Анна. — Хочу тебя видѣть...

Наѣвшіеся поросята осовѣли, сонно чмокали, иногда какой-нибудь из них слегка повизгивал и тыкал розовым пятачком в бок сосѣду. Анна в безсмысленном восторгѣ смотрѣла перед собой, и точно заклинанье, повторяла:

— Я хочу видѣть.

— Вот я хочу тебя видѣть.

На минуту ей стало даже жутко. Сила желанія была так велика, что оно будто становилось вещественным.

Ей нечего было больше дѣлать в хлѣвѣ. Она взялась за ручку двери, тяжело отворила ее. Знала, что сегодня д о л ж н а его увидѣть, если его нѣт, сама к нему пойдет, ни на кого не глядя, никого не спрашиваясь.

И затворив дверь, обернувшись в сторону двора, Анна нисколько не удивилась увидѣв въѣзжавшую карфажку в англійской сбруѣ — в ней сидѣла Марья Гавриловна. Леночка правила. Сзади легко катили дрожки с высоким человѣком в черных усах. Тяжелая, горячая волна медленно прошла по всему тѣлу Анны.



— Вы не ждали нас, Аня, крикнула Леночка со своей двуколки. — Да, неожиданно, мы и не собирались.

— Нѣт, почему-же.

— Вы знаете новость, говорила Леночка, щуря свои каріе глаза. — Вот так новость: нас выселяют!

Она произнесла это очень весело, точно дѣло шло о забавном происшествіи. — Мы завтра переѣзжаем в Красный домик!

Марья Гавриловна медленно снимала свой дорожный пыльник, неторопливо и как бы утомленно высаживалась из экипажа.

— Да, сказала она Аннѣ: времена. В нашем большом домѣ будет совѣт. А мы пока во флигель... что-ж тут подѣлаешь...

Анна улыбалась. Слова пролетали сквозь нее, ничего не задѣвая, ни на чем не осаждаясь. Черными, недвижными глазами она глядѣла на дрожки.

Леночка захохотала, обняла ее.

— Мама, Анѣ это мало интересно!

Через четверть часа Марья Гавриловна сидѣла пред пузатым мѣдным самоварчиком, плющившим лица окружающих и медленно, нѣсколько грустно разсказывала. По несовсѣм чистой скатерти с красной каймой ползали мухи, другая часть этого племени глухо гудѣла под потолком, оклеенным закоптѣлой бумагой. Послѣ дома в Серебряном окна казались маленькими и все убогим.

— Мнѣ Чухаев давно говорил: Марья Гавриловна, мы ничего не можем подѣлать... Вам тут долго не удержаться. Я, говорит, сам буржуй и понимаю. Даже очень сочувствую, но напирают. Вам навѣрно придется отдать дом под Совѣт. Вот он прав и оказался. Третьяго дня пріѣхали из города, и немедленное распоряженіе: в двадцать четыре часа! Чухаев говорит — еще Бога благодарите, Марья Гавриловна,

что удалось для вас Красный домик сохранить, могли-бы прямо на улицу!

Матвѣй Мартыныч сидѣл рядом с ней, локти на столѣ, подпирая коротко стриженую голову грязными, волосатыми руками. Его квадратное лицо в самоварѣ растягивалось в чудовищное рыло. Он глядѣл на Марью Гавриловну с безпокойством.

— Вот каки, вот так сволочь! Свою собственный землю им отдавай, коровочек отдавай, лошадок, кур, все пригодится, так еще из дому гонят!

В маленьких, зеленоватых его глазах что-то сверкнуло.

— Так-то вот сидишь, работаешь, вдруг явятся и говорят: пожалуйте вон!

Аркадій Иванович пил чай с блюдечка, медленно дуя на него, заѣдая малиновым вареньем. Его усы свисали вниз, загорѣлое лицо с мягкими карими глазами имѣло утомленный, нѣсколько болѣзненный вид.

— Что подѣлать, сказал он: живы, и на том спасибо. На Ефремовском хуторкѣ надням одинокую помѣщицу просто зарѣзали... вот как вы ваших... питомцев рѣжете, Матвѣй Мартыныч. Обобрали, ограбили, что могли, а там ищи их. Всѣ, конечно, подозрѣнія на Трушку. Да его так боятся, что и доказывать на него никто не станет, если-б и собственными глазами видѣл. Он прямо по округѣ заявил: если кто на меня докажет, я не только что его, а и всю его деревню спалю.

— Такого не пожалѣешь, сказала Анна.

Аркадій Иваныч улыбнулся.

— Вон вы какая воинственная!

— Аннушка прав — Матвѣй Мартыныч хлопнул даже ладонью по столу. — Я эту госпожу Синицыну знал, Марта, смотри пожалуста, ефремовскую барыню убили, у которой я в третьем годѣ сѣно покупал, хорошая старушка, обходительная, и сѣно мнѣ не за дорого продал, а теперь ее зарѣзали и ограбили, ну, так я спрашиваю вас, на что же это похоже, чтобы честных людей ни за что...

Марья Гавриловна вздохнула, по лицу ея прошла тѣнь.

— Ну что, Аркадій Иваныч, и так не сладко, а вы все какія мрачныя вещи...

— Извините, кума, правда, это я зря наговариваю. Должно, нездоровье мое во мнѣ сидит, и все мысли, знаете, в эту сторону...

Анна взглянула быстро, вопросительно.

Марья Гавриловна вновь обратилась к нему.

— Да и вот, напримѣр: у самого болѣзнь почек, а за нами трясется сюда, на своих дрожках...

Аркадій Иваныч слегка покраснѣл.

— Ну уж это извините, Марья Гавриловна. — Я в вашем домѣ двадцать лѣт околачиваюсь, а по нынѣшним временам отпускать дам однѣх...

Марья Гавриловна закурила и засмѣялась.

— Леночка, смотри какой у нас Аркадій кавалер.

Леночка быстро и дѣловито ѣла варенье, низко наклонив голову к блюдечку. Она всегда утверждала, что к «Мартыну» можно ѣздить с единственною цѣлью — как слѣдует наѣсться. Сейчас живо подняла голову, взглянула на мать

карими, нѣсколько близорукими глазами, захохотала.

— Аркаша нас защищает от бандитов? От нападенія разбойничков?

И слегка щуря глаза, взяла руку Анны, вполголоса сказала ей:

— А я думаю, что бандиты вовсе не опасны.

— Опасны, не опасны, а темноты захватим, это уж как пить дать.

— Да, спохватилась Марья Гавриловна: а я еще самаго главнаго вам не сказала... тут все свои... — она оглянулась: я захватила кое-какія вещи, знаете, у нас там совѣт под боком, того и гляди... вы не будете добры спрятать? Ну, временно подержать у себя?

— Да, мамаша, к дѣлу, сказала Леночка. — Матвѣй Мартыныч, вы не откажете? Пойдем посмотрим.

Через нѣсколько минут Матвѣй Мартыныч тащил уже по двору небольшой, но очень тяжелый чемоданчик и плэд в ремнях. От напряженія на вискѣ его надулась жила.

— Кое-что таки набралось, говорил он довольным тоном. Надо схоронить. Мы таки схороним. Кое-что набралось.

Ему очень нравилось, что вот у кого-то что-то есть. Марья Гавриловна вполнѣ могла быть покойна за свое добро.

— Все с вами пересчитаем, запишем, под расписочку примем, чтобы не вышло потом чего...

Аркадій Иваныч отвязал свою лошадь и сѣл на дрожки.

— Я тебя подожду там на выѣздѣ, у ракиты, шепнул он Аннѣ. — Пройди садом.

Анна покорно кивнула, темные ея глаза покрылись влагой. Пока в столовой шел подсчет серебра, цѣнностей, воротников дорогих шуб, она вышла в сад.

Сад в Мартыновкѣ находился по другую сторону дома, и это был иной мір.

Хоть и сюда доносилось хрюканье свиней, все-же старый яблоневый сад, времен далеко до-мартыновских, носил облик милых русских садов — нѣкоего скромнаго рая. Сейчас яблони стояли уже совсѣм голыя. У подножія стволов чернѣли круги свѣжевскопанной земли, от них пахло терпко и прелестно. На одном аркадѣ сохранилось нѣсколько блѣдных листиков, и на верхушкѣ одинокое, золотистое яблочко. Изумрудно-стеклянен был вечер. Нѣжен, узко-серебрист мѣсяц сквозь вѣтви, горек воздух. Анна шла, попирая погибшія травы.

Пройдя мимо шалаша в дальній конец, выходившій к дорогѣ, она услыхала то медленное в вечернем воздухѣ позвякиванье, постукиванье, ход подкованной лошади, тѣ мирные звуки, которые говорят о приближеніи друга. Никогда Трушка так не приближался. И дѣйствительно, через минуту, взбѣжав узенькой тропкой сквозь акаціи по канавкѣ к дорогѣ, она увидала эти простецкія дрожки, чалаго коня, длиннаго Аркадія.

Увидѣв ее, он улыбнулся.

— Ты нынче не такая, как тот раз.

Анна сѣла на дрожки боком, обняла его,

прижалась щекой к его шеѣ — ус щекотал слегка ей лоб.

— Прости меня, Аркадій, прости.

Все улыбаясь, он обернулся. Темные, сумасшедшіе глаза в упор смотрѣли на него. Он провел рукой по ея волосам, поцѣловал в лоб, сказал тихонько: — Проводи меня до кургана.

Анна молча к нему прижалась.

— Я сегодня так хотѣла, чтобы ты пріѣхал... и дѣйствительно, смотрю, вы и въѣзжаете. Да, прибавила она упрямо: да, больше я не могу.

— Что не можешь?

— Не могу тут жить, не могу без тебя...

Лошадь шла шагом. Внизу, направо, выступила в лощинѣ деревушка Мартемьяново. Там мычали коровы. Слышен был гул молотилки. По временам бич хлопал. И-о-о! И-о-о! равномѣрно покрикивал погонщик. Мартемьяново уходило в голубовато-синѣющій туман вечера.

Аркадій Иваныч молчал.

— Мнѣ писали из Тулы, сказал он: теперь совсѣм скоро развод. Как получу, обвѣнчаемся. Я непремѣнно хочу обвѣнчаться, чтобы все как слѣдует. Будет, довольно. Хочется, чтобы так благочинно... по настоящему. А то вот прошла жизнь, и столько зря надѣлано, натрепано... ужасно много...

Все так-же позвякивало что-то в дрожках, лошадь медленно ступала по сухому проселку, слегка подымавшемуся. Подъѣхали к кургану — небольшому, ровному холму на высоком мѣстѣ. Открылся далекій вид на поля, лѣса, овраги, взгорья. Что в этом курганѣ, никто толком не знал, да может быть, и ничего не было — про-

сто сторожевая вышка, откуда наблюдали за жутким востоком, за страшной татарщиной — заревами, дымом надвигавшейся. Аркадій Иваныч остановил коня. Они слѣзли и сѣли у канавки. Солнце садилось. Тѣнь вѣкового кургана их одѣла, над его верхушкою пылали еще лучи, небо на сѣверо-востокѣ было холодное, синестальное. К нему снизу шли яркія, густыя зеленя. Их замыкал темный парк Серебрянаго. Бѣлая колокольня, пересѣкая пейзаж, горѣла в послѣднем блескѣ.

— Вот там ты, сказала Анна: там ты живешь, твое Машистово, и там пропала моя головушка...

Она засмѣялась.

— Хорошо, что пропала. Тебя тоже, навѣрно, скоро оттуда выгонят, это ничего, мы гдѣ нибудь устроимся, не все-ли равно. Мнѣ с тобой хорошо. Мнѣ с тобой очень хорошо. Но сейчас ужасно грустно.

Она опять к нему приникла.

— И все страшно... Аркадій, мнѣ как-то очень страшно.

Аркадій Иваныч вертѣл в руках сухую былинку. Иногда откусывал кусочек. Он ничего ей не отвѣтил. В поясницѣ начиналась вновь привычная, тупая боль.

— Нѣт, сказала Анна: если до Рождества развода не будет, я все равно к тебѣ сбѣгу. Это уж как хочешь.

Со стороны хутора на дорогѣ показалась карфажка. Солнце сѣло. Сизый, прохладный сумрак обозначился в лощинах. Аркадій Иваныч встал.

— Пора. Наши ѣдут. Вот и застали темноты.

— У тебя есть с собой..?

Аркадій Иваныч похлопал по карману.

— Я приду в воскресенье.

Он обнял ее, поцѣловал в лоб и сѣл на дрожки.

⁂

Было уже темно. С каждой минутой глубже погружалось заведеніе Матвѣя Мартыныча в первоначальную тьму, смывавшую дома, лѣса, людей, животных, чтобы возродить их утром. Зато на небѣ возставала своя краса. Зима близилась. Уже Оріон выводил, еще невысоко над горизонтом, свой таинственный семисвѣчник. Под ним кипѣл вѣчно-юный Сиріус.

Сиріус стрѣлял уже разноцвѣтными лучами сквозь голые сучья сада, когда Анна вошла во двор. Дверь инструментальнаго сарайчика была открыта. Там возился Матвѣй Мартыныч.

— Аннушка, это ты? спросил он, услышав ея шаги.

— Я.

— Гдѣ-ж ты был?

— В полѣ.

Из-за темноты Анна не видѣла лица Матвѣя Мартыныча, передвигавшаго какіе-то ящики, но ее поразил измѣнившійся, задохнувшійся его голос, когда он почти крикнул:

— Ты все за этим Аркадіем бѣгаешь... Я уже давно, уже с лѣта замѣчайл...

— Ну и что-ж, что замѣчал?

Матвѣй Мартыныч выскочил из сарайчика.

— Ты понимай, что он бездѣльник, он толь-

ки всю жизнь по ярмаркам ѣздил, на гитарѣ играл и любил дѣвушек...

— Да тебѣ-то что? вдруг грубо сказала Анна. — Ты чего раскипятился? Ты кто сам?

— Я честный латиш... я хозяин, все сам дѣлаю... Аннушка, не сердись, я ничего, так... ты знаешь, я о тебѣ все думаю и безпокоюсь, ты уже большая дѣвушка, уже на выданьѣ...

— А-а, безпокоюсь... молчи, Матвѣй, я знаю, о чем ты безпокоишься...

Матвѣй Мартыныч взял ее за руку.

— Я о тебѣ безпокоюсь, потому что ты мнѣ не чужой, ты свой, хорошій... Я тебя ребенком знал, а ты теперь сдѣлался красивый дѣвушка...

Теплота его руки, знакомая медвѣжатная шерстистость хорошо подѣйствовали на Анну. Гнѣв ея быстро сошел. Ей, как всегда с Матвѣем Мартыновичем, стало как-то смѣшно, ток животной сочувственности смягчил ее. Матвѣй Мартыныч молча и неуклюже гладил ей руку.

— Если ты будешь ко мнѣ приставать с Аркадіем, сказала она покойнѣе, и с усмѣшкой: так смотри ты у меня!

— Матвунчик! крикнула с крыльца Марта. — Куда ты там запропастился? Анна, отыскалась, наконец?

Анна слегка хлопнула Матвѣя Мартыновича по затылку.

— Видишь, какой ты... — шепнула ему. И потом прибавила, тоже вполголоса, но серьезно:

— Ты мнѣ не вздумай мѣшать. Я сама все знаю. Я, дядя, давно уж не маленькая. Я живу сама, и сама буду жить, как захочу. Меня не передѣлаешь.

Марта встрѣтила их сухо, буркнув про себя что-то. Но Анна не слушала. Ей было все равно. С безразличіем она ужинала. В душѣ прохлада, крѣпость и рѣшимость. Что то заканчивалось в ея жизни. Пока она молчала, но свое знала твердо. Послѣ ужина, как всегда, поднялась к себѣ в комнатку. Прежде чѣм лечь, отворила окошко в темную, холодную ночь. Долго смотрѣла на звѣзды пылавшія. И опять, как тогда у кургана, стало ей жутко. Голова закружилась.

МАШИСТОВО

В деревнѣ поздняя осень тяжела. Как ужасно размокают дороги! Безпросвѣтен вѣчный дождичек из холодных, набухших туч, из надвигающихся сыро-туманных завѣс, задымляющих бугры, колокольни, лѣсистыя взгорья. Выѣхать значит хлюпать в грязи по ступицу, плестись шагом, терпѣть и мокнуть.

А потом все замерзнет. Тогда дорога — сухая, окостенѣлая пытка. Телѣги грохочут, людей в них швыряет... что-же подѣлаешь. Это Родина. Это Россія.

Михайлов день прострадали в Мартыновкѣ в мѣсивѣ мокраго снѣга и грязи. Матвѣю Мартынычу надо было-б доѣхать в город, но время не позволяет, зарѣжешь лошадь. Марта и Анна ходили в подоткнутых юбках, высоких сапогах, на которые налипали цѣлые комья — сумрачныя и усталыя от этих вѣчно-чмокающих звуков — им вторило в хлѣвах чавканье свиного населенія.

Сухой заморозок принес нѣкое облегченіе. К ночи все стихло. Таинственныя перемѣны совершались в облаках. На закоченѣлую землю Серебрянаго, Машистова, Мартемьянова во мглѣ и безвѣстности заструился снѣг — стал зарав-

нивать выбоины дорог, бѣлить углы крыш, медленно наростать в разных ложочках и затишных мѣстах.

Перед тѣм как лечь, Матвѣй Мартыныч вышел на воздух и остановившись на каменной плитѣ за порогом, в кромѣшной тьмѣ с удовольствіем ощутил на лбу, на волосатой щекѣ, на кончикѣ носа холодныя прикосновенья. Он выставил ладонь руки — сомнѣній не было.

— Ну вот, Матвѣй Мартыныч говорил, что и-пороша, и разумѣется дѣло, так снѣжок и пошел!

Каждый год, с большой правильностью, выпадал в концѣ ноября снѣг, но Матвѣю Мартынычу пріятно было сознавать, что вот именно он не ошибся, сказав надняx Мартѣ, что скоро будет снѣг. Стал-ли бы серьезный и честный латыш утверждать что-нибудь легкомысленное?

Постояв, сколько полагается, облегченный и довольный, Матвѣй Мартыныч вошел в дом, запер дверь и направился в спальню. Марта уже лежала. Мальчик спал. Крошечная лампочка-коптилка стояла на комодѣ и усиливала густой, кисловатый запах.

— Я-же и говорил — Матвѣй Мартыныч сѣл на постель со своего боку и сняв куртку почесал под рубашкой кустившуюся грудь. — Я же и говорил, что снѣжок выпадет, мы теперь и-ляжем, а встанешь, то и первопуток.

— Вот и хорошо тебѣ в город ѣхать, отозвалась вяло Марта.

— Я знал, что мнѣ хорошо будет.

— А розвальни наладил?

— Матвѣй Мартыныч все наладил. Пожа-

луйста! Лѣвый полозок новый сдѣлал, оглобли перестроил...

Задув свѣт, он довольно грузно, так что двуспальная кровать вздохнула, завалился на спину.

— И тебѣ с Анночкой по снѣжку веселѣе..

— Еще-бы.

— А то я третьяго дня вижу, Анночка по двору шлепает, так там около подвала вмѣсто чтобы по досточкѣ прямо как в лужу ступил, чуть не по колѣнку в грязь...

— Ну, это уж просто по ротозѣйству, отвѣтила Марта. — Дощечка положена, нѣт, надо переть прямо.

— Не замѣтил как нибудь, и попал...

— Не замѣтила... какая барыня!

Марта повернулась, легла на спину.

— Эта самая Анна дурить начинает. На наших хлѣбах отъѣлась, теперь смотри пожалуйста... то усатый сюда заѣдет, то она бѣжит в Машистово.

— Она-же рѣдки со двора уходит.

— Рѣдки, рѣдки! Прошлое воскресенье чуть не на зарѣ вернулась.

Матвѣй Мартыныч недовольно двинулся. Нѣкоторое время лежали молча.

— Аннушка честная дѣвушка, сказал Матвѣй Мартыныч. — Если кого полюбит, то замуж выйдет.

— Ну, да уж ты за нее горой...

— Не то, чтобы горой, а правду надо сказать.

Марта вдруг вспыхнула.

— Значит, я вру? А я тебѣ говорю, что она

с машистовским путается, и об этом всѣ на деревнѣ знают, кого хочешь спроси...

— Марточка, не волнуйся. Я и не говорил, что ты врешь, а что надо правду сказать...

Но Марта дѣйствительно разсердилась. Сон ея прошел. Острая электрическая сила пробѣжала по ея худому тѣлу, может быть та-же, что потрясала и в любви. Марта уже замѣчала и раньше сдержанное притяженіе в мужѣ... Как он оживлялся, как близко к сердцу принимал все, касавшееся Анны! Чувство это, отслаиваясь в дальних углах, поднакопилось — давало о себѣ знать смутным недовольством.

Марта сѣла — так было удобнѣе — и повела наступленіе. Матвѣй Мартыныч лежал сначала смирно, потом тоже воодушевился, сѣл и стал защищаться в полных доспѣхах непорочнаго мужа.

— Марточки, это неправда! Я с тобой сколькии лѣт, и я другой женщины даже и не знал, вот у нас Мартынчик растет, я для тебя и для него стараюсь, как честный латыш...

Но Марту не так легко было заговорить. Она не давала вздохнуть. Послѣ краткаго боя побѣда осталась за ней, хоть и обошлась недешево. Матвѣй-же Мартыныч отступил в порядкѣ, и вдруг занял такія позиціи, куда проникнуть за ним было уже невозможно: захрапѣл на спинѣ. Малыя треволненья соскочили с него в ту теплую, медвѣжатную мглу, гдѣ столь легко сливался он со всѣм царством сонно-живым, покоящимся в Матери Природѣ.

Марта-же заснуть не могла — этим и платила за побѣду. Нервное волненіе не покида-

ло ее. В сущности, конечно, чепуха, она знает своего Матвунчика и в нем увѣрена... да и попробовал-бы он! Нѣт, вздор, но лучше бы и этого не было. Забот и так много. Конечно, Матвѣй Мартыныч отличный муж, хозяин, но как легковѣрен, как все видит в лучшем свѣтѣ! Ну, Бог с ней с Анной, с Машистовым — он забывает, что теперь не мир, какое время! Разводит-себѣ, раскармливает свиней, в ус не дует, что мартемьяновскіе мужики как волки бродят вокруг хутора, что вѣдь пріѣзжали-же зачѣм-то Чухаев с Похлёбкиным...

Мрачныя мысли разгорались. Да, хорошо говорить о ней и о сынѣ, но надо знать, с кѣм имѣешь дѣло, надо закупать исполком, вообще надо дѣйствовать. «Вот теперь поѣдет по первопутку... да, непремѣнно чтобы в город свез хоть поросят... А может быть, свинку пожертвовать? Хоть бы эту Аннину Матрену... лучше будет, как все заберут?»

Заснула она поздно. Когда проснулась, бѣлесый отсвѣт лежал на стѣнах. Матвѣй Мартыныч в голубых подтяжках уже расхаживал по комнатѣ.

— Как ты спала, Марточка? спросил неувѣренно. — Ты что-то все и-с вечера вертѣлси.

— Вертѣлась не вертѣлась, а надумала правильно.

По виду мужа она поняла, что вчерашняго он не забыл. Власть, как всегда, была за нею.

— Снѣгу много?

— Снѣжок ничего себѣ, да таки пороша как слѣдует, вот патронов набью, то пойду зайчиков потревожить. Мы давно зайчика не кушали.

Марта принялась одѣваться.

— Ну, там зайчика не зайчика, а ты слушай, что я тебѣ скажу: ты когда в город собираешься?

— В город я обязательно должон. Так и думал, как и-санный путь, то и тронуся.

— Тебѣ надо завтра ѣхать. И свинью захватишь.

— Как свинью?

Продолжая одѣваться, Марта кратко и внушительно ему объяснила, что с пустыми руками ѣхать в город нельзя. Надо повидать кого слѣдует, подмазать. Зайчики зайчиками, баловство, успѣется. А вот Аннину Матрену — свинья неважная, поросята тоже дрянь, их Анна выкармливает — эту Матрену сейчас-же надо зарѣзать, к вечеру освѣжевать, приготовить, и завтра окорока прямо в город.

Матвѣй Мартыныч не очень ждал такой рѣшительности. Разумѣется, он предпочел-бы искать по порошѣ зайчишек, а в город и завтра не поздно. Но уж одно то, что Марта выбрала Аннину свинью, говорило о серьезности дѣла. Как хозяин, Матвѣй Мартыныч готов был возражать. Но как муж, хорошо знающій свою жену, не рѣшился.

Когда через нѣсколько времени они с Мартой вышли, нагруженные инструментами, точно хирург с сестрой милосердія на операцію, первое, что ударило по ним, был удивительный воздух. Бѣлый снѣг, нынче родившійся, принес с высот заоблачных такую свѣжесть, такое безплотное и как бы отрѣшенное благоуханіе, будто иной, прохладный и нѣсколько грустный в

нетлѣнности своей мір сошел на землю. Всѣ выбоины, колеи и закостенѣлыя неровности запушил он. Нога ступала мягко, и то, что еще вчера терзало ее, нынче было уже погребено. Матвѣй Мартыныч с Мартою шли разговаривая о дѣлах. Ни снѣга, ни его запаха, ни чистоты они не замѣчали. Да и странно было бы этого ждать от них. Они шли дѣлать свое дѣло. Они поддерживали собою мір.

Понимала-ли Матрена, что эти спокойные люди, которых она нерѣдко видѣла, которые ей ничего дурного не дѣлали, как и она им — идут ее убивать? Должно быть, тоже не понимала.

Лишь когда стали связывать ей ноги, когда Матвѣй Мартыныч, повалив ее набок, сѣл верхом, издала она раздирающій вопль.

Анна доила в это время корову. Выйдя из теплаго стойла с подойником, она встрѣтила посреди двора Марту. Та быстро шла по направленію к дому, в лѣвой рукѣ держала, концом вниз, узкій и длинный нож. Кровь капала с него. За углом закуты возился над неподвижною тушей Матвѣй Мартыныч.

— Свинью рѣзали? спросила Анна удивленно — обычно она знала об этом заранѣе.

Отсвѣт снѣга блѣднил нѣсколько лицо Марты, но и само оно было сейчас безжизненно. Только глаза блестѣли.

— Твою Матрешку палить будем, отвѣтила Марта глуховато, с усмѣшкой. Рука ея с ножом вздрагивала. Приподняв немного остріе, она попробовала его пальцем, сразу закраснѣвшим.

— Теплая еще.

Едва замѣтная судорога, как слѣд прошед-

шей под поверхностью рыбки, всколыхнула ея лицо. Анна почувствовала себя нѣсколько задѣтой.

— Почему-же именно Матрену? спросила она. — И вот так сразу... Я даже не знала.

Марта усмѣхнулась.

— Ты что-ж, помогла-бы рѣзать?

Анна отвѣтила холодно:

— Что нужно, я все помогаю.

Онѣ обѣ шли в дом. Анна не хотѣла больше разспрашивать. Привычно ушла она в себя. Переливая молоко, дѣлая мелкія хозяйственныя дѣла, легко направилась душой в Машистово.

«Навѣрно на охоту теперь пойдет. Сам-то и не такой здоровый, начнет по оврагам за зайцами лазить, распотѣет... а там эти почки... Ну, да развѣ его удержишь?»

Собственно, она думала, что удержать-то — и от вина, и от чего другого можно, но надо при нем находиться. Быть его женой, подругою... Развод-же все не идет да не идет. «Аркадій тоже хочет по закону, по хорошему». Ей было мучительно радостно, что этот немолодой барин, бывшій покоритель, теперь так привязался именно к ней, хочет все «по хорошему» — хотя именно теперь сходятся и без брака, и без любви, как звѣри.

Кончив работу, Анна вновь вышла на двор. Нѣкое любопытство владѣло ею. Так хорош, так мил был снѣг, по нем жалко даже итти. Он тот-же снѣг, что лежит сейчас и в Машистовѣ, и по которому ходит Аркадій за зайцами — снѣг друг и союзник. Все же идет она почему-то мимо свиных закут, к тому дальнему углу, гдѣ нѣ-

сколько в сторонѣ от двора разбросаны клочья соломы, ржаво краснѣют на снѣгу непріятныя пятна. Матвѣй Мартыныч кончил уже всѣ приготовленія. Обложив тушу соломой, не очень обильно, он зажег ее. Синѣющій дымок легко поплыл и заболтался в воздухѣ, огонь запрыгал с соломинки на соломинку. Он ненасытно, весело ѣл золотые пучки, они корёжились, тотчас чернѣли. А огонь ластился уже к тушѣ, охватывал ее. Щетина трещала. Новый запах явился, смрадный. К синевѣ дыма прибавился сѣро-прогорклый оттѣнок.

За недлинную свою жизнь Анна достаточно видѣла. Ей и самой приходилось рѣзать птицу. Но сейчас, в тихій, бѣлоснѣжный день, вид палимой свиньи показался ей необыкновенно противным.

Увидав Анну Матвѣй Мартыныч нѣсколько смутился.

— Что-же это ты, одним махом, и мнѣ даже не собрался сказать... Мою матку зарѣзали, а мнѣ ни слова.

Анна произнесла это тоном почти начальственным. С нѣкотораго времени она вообще усвоила его с Матвѣем Мартынычем. Пока не знала Аркадія так, как теперь, пока не чувствовала себя взрослой и не ощущала своей женской силы, Анна к нему относилась как к дядѣ и хозяину. Но сейчас этого уже не было.

— Нечего дѣлать, Анночка, так вышло. Мнѣ завтра в город ѣхать.

Анна усмѣхнулась.

— Что-ж так скоро?

Матвѣй Мартыныч счел умѣстным перемѣнить разговор.

— Анночка, возьмись за ейныя ножки.

Обдаваемая чадом, Анна молча помогла ему. Слегка потемнѣвшій бок свиньи лег на аспидно-серебряный пепел, другой выступил в своей жалкой нетронутости: сквозь бѣлесую щетину просвѣчивала розовая шкура. Жизнь ушла уже. Все-таки в этой розовости Анна признала и нѣчто знакомое. Это была, хоть и мертвая, все-таки та-же Матрена, которую она кормила, которая узнавала ее, когда она являлась в хлѣв, и чьих поросят с такой предательской заботливостью она выхаживает и по сей час.

Матвѣй Мартыныч подкинул соломы. Вновь легкій огонь метнулся вдоль туши. Вновъ затрещала щетина. Понесло паленым.

— Эх ты, воин, сказала Анна. — А еще хозяин.

И отошла.



Всѣ церемоніи над зарѣзанной протекли правильно, всѣ дѣйствія кончены, и на утро Матвѣй Мартыныч в жеребковой дохѣ, подтянув ее поясом, чѣм свѣт (а поля снѣжныя еще налиты ночным сумраком, хмуро синѣют, и в глазах при взглядѣ на них текут свѣтлыя запятыя) — уже выѣхал в город.

Без него все шло так-же, как и при нем, как должно было итти и как дай Бог, чтобы шло и впредь. Марта и Анна молчаливо работали, Анна особенно теперь не торопилась с разгово-

рами. Марта ничего против не имѣла — считала, что так даже больше сработается.

Но на другой день произошло небольшое событіе, котораго Марта никак не могла предвидѣть. Началось все очень обычно. Заѣхала в санках Леночка Немѣшаева. Увидѣв ее на дворѣ, Марта с неудовольствіем подумала, что сейчас придется ставить самовар, доставать леденцы и варенье — вообще заниматься ненужными пустяками. «Вот дѣлать-то кому нечего... Знай себѣ разъѣзжают!»

Но Леночка, рѣзво пробѣжав по двору в ловких своих валенках, сразу сказала, что и заходить не будет. В санках-же сидѣл Костя, в шапкѣ с мѣховыми наушниками и даже не думал устраивать лошадь надолго. Он медленно объѣзжал заснѣженный двор, чтобы стать лицом к выѣзду.

Леночка быстро и оживленно сообщила, что они всего на минуту, ѣдут в Конченку за докторшей — захворал Аркадій Иваныч, лежит, кажется, довольно серьезно.

— Он совсѣм один там у себя, так неудобно... У него болѣзнь почек, надо компрессы, даже ванны... Да, Аничка, вам от него письмецо...

И передав письмо, Леночка быстро укатила в Конченку: надо засвѣтло попасть домой.

Анна-же прочитала, слегка насупилась, ничего не сказала. Ушла наверх в комнату, сѣла к столу, положила на стол руки, на них голову и коротко, быстро всхлипнула. Дверь она заперла. Еще и еще раз потрясло ее рыданіе. Потом она высморкалась, встала и принялась укладывать в рваный, доставшійся еще от матери и

потому милый чемоданчик нехитрыя, невеликія свои вещи.

Часа через два вернулся и Матвѣй Мартыныч. Он был не очень весел. Дорога утомила, в городѣ не так было гладко, как он ожидал, там сильно подголадывают, зарятся и злятся на деревню. Он сразу-же залег спать. Анна спустилась с чемоданчиком, когда его храп раздавался по всему дому.

Увидѣв ее уже на дворѣ, Марта удивилась.

— Куда это ты?

— В Машистово. Аркадій Иваныч очень болен.

— В Машистово!

— Да, отвѣтила Анна покойнѣе и даже мягче, как будто говорила об обычном, самоочевидном: иначе нельзя. Конечно... я ухожу так вот сразу, может, это и нехорошо... но он правда болен, за ним некому и доглядѣть.

Марта стояла молча.

— Я вѣдь его невѣста, тихо добавила Анна.



В полѣ она сразу почувствовала себя лучше. То, что должно было произойти, произошло, и чѣм проще случилось, чѣм скорѣе, тѣм и лучше. Аркадій болен. Вот, она идет к нему по этому пустынному снѣгу, в надвигающихся сумерках — потому, что так надо, такова судьба ея. Анна хорошо знала дорогу. И чѣм далѣе отходила, тѣм яснѣе ощущала начинавшееся новое. Оно было и радостным, и грозным, как этот

предвечерній сумрак, залегавшій свинцом у лѣсочков, вѣявшій пустыней, ночью. Анна шла быстро. Чемоданчик не был тяжек для ея крѣпкой руки, привыкшей к полным ведрам, лоханям, корытам. Грудь широко дышала. И странное, почти восторженное ощущеніе пролетало по ней, обдавая спину нѣжным, но и жутким холодом.

Она пришла в Машистово затемно — свѣтились уже огоньки, деревня на той сторонѣ оврага пряталась в неизслѣдимой безднѣ ночи. Усадебка Аркадія Иваныча стояла на отлетѣ. К ней вела неширокая дорога через верх этого-же оврага. По ней надо было потом подыматься — дом расположен выше всей деревни, на юру. Фруктовый сад выдвигался прямо в поле, обсажен был нестарыми березами. Этот прямоугольник берез на бугрѣ виднѣлся издали, точно легкій, стройный авангард нѣкоторых главных сил.

Главных-же сил и вообще не было. Аркадій Иваныч жил в маленьком домѣ, часть земли — до революціи — отдавал в аренду, другую кой как сам обрабатывал. Но что можно было бы сказать о его жизни теперь? Развѣ то, что он все-таки существовал, что поддерживали его, по старой дружбѣ, и Немѣшаевы, и что на кухнѣ его прозябала старуха Арина.

Анна взошла на крылечко, взялась за скобу обитой войлоком двери — дверь без труда отворилась. «Как все тут настежь...» Анна знала дом Аркадія Иваныча, и ей непріятно стало, что незаперта даже дверь. Она быстро раздѣлась. Из кабинета слабый свѣт ложился на крашеныя, давно не натиравшіяся половицы столо-

вой, куда она вошла. Окна чуть запушены узором снѣга.

— Кто там?

Анна подошла к полуоткрытой двери, просунула голову. На тахтѣ, у стѣны, завѣшенной ковром, по которому висѣли на рогах ружья, патронташи, старинная пороховница, лежал Аркадій Иваныч. Небольшая лампа с картонным абажуром давала блёклый свѣт.

— Это я пришла, сказала Анна, с силой выдохнув из себя слова — и вдруг улыбнулась, всей полнотой своего умиленія и радости. — Ты болен, вот я и пришла...

Аркадій Иваныч приподнялся. В полутьмѣ, против свѣта, не мог разглядѣть влажных глаз Анны, но ея голос и ея разряд дошли.

— Как я рад... я ужасно рад.

Она к нему подошла, поставила в сторонку чемодан. Свѣжим зимним воздухом на него пахнуло — здоровьем, молодостью от раскраснѣвшихся щек Анны.

— Ты получила мое письмо?

Анна кивнула. Глаза ея сіяли. Аркадій Иваныч взглянул на чемоданчик.

— А это как-же ты...

Анна засмѣялась, быстро сняла шубейку.

— Не ждал гостьи. Я к тебѣ с вещами. Я теперь от тебя не уйду. Понимаешь?

Она подошла к тахтѣ совсѣм близко — высокая, румяная, с блистающими глазами. Большія красныя руки довольно ясно освѣщались лампой — она стояла перед ним обликом силы и молодости, свѣжей, страстной жизни. Аркадій Иваныч вдруг ослабѣл. Взял руку Анны, при-

пал к ней лицом и глазами, поцѣловал — всхлипнул.

— Как-же ты, бормотал, вздрагивая подбородком: как-же ты там своих... латышей бросила... как ты сказала, они небось разсердились?

Но Анна ничего уже не могла разсказать. Губы ея дрожали, она обняла его, припала, а вѣрнѣе притянула к себѣ, заполнила, закрыла, точно защищая. Она была в состояніи того счастливаго бѣшенства, когда золотые токи пронзали всю ее, когда она себя уже не помнила, но только знала, что может сдвинуть камни, горы, и сейчас тѣло Аркадія казалось ей слабым и легким, она могла-б его поднять как чемодан.

— Мой, мой... никому не отдам, вылѣчим, опять будешь здоровый, вмѣстѣ будем. Мой...

ЗИМА

В свое время Аркадія Иваныча дѣйствительно знал весь уѣзд. Не потому, чтобы он был богат. Имѣньицем владѣл небольшим, состоял при дворянской опекѣ — в учрежденіи вялом и невидном. Занимал пост какого-то секретаря, а жил больше у себя в Машистовѣ. Часто разъѣзжал по ярмаркам, базарам, много охотился — и с великим князем и с покойным Немѣшаевым, бывал на всѣх дворянских и земских собраніях, играл и на билліардѣ, умѣл закусить, выпить, расправляя свои длинные усы и молодцевато держась в черной суконной поддевкѣ с кавказским поясом — как-же его было не знать?

В городском костюмѣ он сильно проигрывал. Ни воротнички, ни манжеты не шли к его сильно загорѣлому лицу с темными пятнышками, к огромным грубоватым рукам. Прямой воротничек и бѣлый атласный галстух стѣсняли его.

Он умѣл разговаривать и с поденщицей, и с учительницей и с барыней. Был и женат, и неженат, смотря по взгляду. И сам бросал, и его бросали — не изсякал лишь в нем источник благоволенія. Женщины это чувствовали и не были к нему суровы.

Весь первый вечер он не мог успокоиться.

Говорил мало, но по его глазам, по тому, как он вертѣлся, как молча брал ея руку и гладил, Анна поняла, что он что-то кипит. Это и трогало ее, и волновало. «Чего это он... Что такое?»

Сама-же она сразу почувствовала себя хозяйкой, госпожей этого нехитраго холостяцкаго, однако-же насиженнаго жилья. Арина сдалась ей безпрѐкословно. Анна вездѣ сама чистила, убирала, привела в порядок и столовую, и кабинет, разложила даже на письменном столѣ в порядкѣ старыя накладныя и ненужные прейскуранты. Временами, перебирая его бумаги, чувствовала нѣкоторую боязнь (знала его характер) — не наткнуться бы на какое-нибудь письмо, на угол неизвѣстной и враждебной жизни. Но ничего не нашла. Зато в столовой обнаружила слѣды иных грѣхов: бутылку самогона, дар Похлёбкина.

— Вот, сказала она, подойдя к нему, и постучав пальцем по стеклу: вот гдѣ здоровье твое — на донышкѣ!

Аркадій Иваныч улыбнулся.

— Не судите, да не судимы будете.

Эти слова, немногія, какія знал он из Евангелія, Аркадій Иваныч вспоминал нерѣдко — может быть потому, что и себя ощущал небезупречным и ему нравилось, что в священной книгѣ, которую читают в церкви — даже и там есть снисхожденіе к нему.

— Судимы или не судимы, а этого зелья ты больше и запаху не услышишь.

— Жаль, сказал Аркадій Иваныч серьезно.

— Ничего не жаль. У самого то да се, в постели лежит... Э-э, да что говорить! Поскорѣй-

бы эта докторша пріѣхала, уж хорошенько бы узнать, что да как...

Аркадій Иваныч свернул козью ножку и закурил.

— Я лежу, но довольно хорошо чувствую себя сейчас... Ты... и на гитарѣ не позволишь мнѣ попробовать?

Анна посмотрѣла на него. Глаза ея вздрогнули, повлажнѣли. Она сдержалась, молча встала, вышла в другую комнату, вернулась с гитарою и положила ее на постель.

В это время за окнами машистовскаго дома, над Серебряными и Мартыновками, начиналось то бѣлое «дѣйство», которое называется метелью, когда носятся по полям дикіе косяки, стучит, ухает, наносит сугробы, задувает ложочки, напояя воздух острым благоуханіем, колюче хлещет лицо снѣжной пылью.

На окнах стали налипать звѣздисто-путаные узоры. Бѣлый свѣт яснѣе лег в немолодыя комнаты машистовскаго дома с топившейся голландской печью, старыми фотографіями на стѣнах, запахом медвѣжьей шкуры, ружей и лѣкарств.

Аркадій Иваныч взял гитару, слегка тронул струны. Онѣ слабо, грустно отвѣтили. Он стал подтягивать колышки.

— Вот и развлекусь немножко. Не вѣчно же хворать, лежать...

Анна преданными, темными глазами на него взглянула.

— Триста романсов... Меня у Яра отлично знали. Варя Панина одобряла. Всѣ триста на память знал. Но и не одни цыганскіе...

Он сѣл повыше, подперся большой подушкой, и слабым полу-голосом, полуговорком, но увѣренно начал.

Кромѣ гитары метель ему аккомпанировала. Но в ея порывах, в безумном, сухом хлестаніи было что-то грозное. Временами так громыхали листы желѣза на крышѣ, ослабѣвшіе от времени, так постукивали ставни, что почти заглушали романс. На Анну это пѣніе нагоняло мрак.

— «И умере-еть у ваших ног. О если-б смѣл, о е-е-если-б мог!»

Он слегка задохнулся, отложил гитару.

— Под этот романс мы с покойным Кладкиным сколько деньжищ спустили...

— Ну, что там вспоминать, гдѣ да сколько, сказала Анна. — Были баре, разумѣется. Денег не считали... сами они к вам шли. Своим горбом мало что добывали.

— Вѣрно — Аркадій Иваныч произнес это в пол-тона. — Легко пришло, легко ушло.

Анна взяла его за руку.

— Я тебя не осуждаю. Ты как был барин, так барином и остался. Мы — другіе. И теперь другая жизнь идет.

Она улыбнулась.

— Я тебя за то и люблю, что ты барин... настоящій. А что цыганок разных любил, этого не люблю.

— Цыганки бывали ничего себѣ... Но я ими не занимался. Кладкин вертѣлся немного. Да с ними и вообще не так легко. Нѣт, мы шальныя деньги сорили, это что и говорить, я то не так, у меня много никогда не бывало, а вот этот Кладкин, напримѣр...

Аркадій Иваныч помолчал, потом закурил.

— Его имѣніе отсюда было верст пятнадцать, в сторону Корыстова. Как тебѣ сказать, не то, чтобы особо знатный, родовитый, что-ли, человѣк, скорѣй напротив, происхожденія неопредѣленнаго, занимался подрядами, поднажился — и купил Олёсово, переѣхал туда с семьей, зажил, я тебѣ скажу, широко. Именины, или там праздник, то водчёнки, вина сколько твоей душѣ угодно. И наши-же помѣщики так у него перепивались, что потом их на дорожках олёсовскаго парка находили, или под кустами с дѣвками-мананками...

— Мерзавцы. И ты такой был?

Аркадій Иваныч слегка выпрямился, опираясь на подушку, по старой привычкѣ выставляя вперед грудь.

— Я, во-первых, никогда не напивался, хотя пил и много. Второе — женщины меня любили не за деньги.

Анна посмотрѣла на него невесело. За деньги плохо, но что его любили и не за деньги, тоже мало ей нравилось.

— Так вот этот самый Кладкин завел тут молочное хозяйство, кирпичный завод, и еще раскинулся нивѣсть на что, и надо тебѣ знать, что все он говорил женѣ: «надо мнѣ, Сашенька, по дѣлам в Москву». По этим то дѣлам мы с ним все к Яру и залетали. Так он к дѣлам пристрастился, что и у Яра, и на бѣгах, и в разных других злачных московских мѣстах стал своим человѣком... И в три-четыре года, под такіе-то романсы всѣ его деньжонки и коровы, и завод — и ухнули. Пытался на биржѣ играть

— окончательно запутался. Все у него пропало. Имѣніе продали за долги, а сам он уж не знаю гдѣ сейчас, всю семью разметало... Как и нас прочих, разумѣется. Что говорить — он вздохнул — мало мы чѣм от него отличались. Может быть, меньше только пришлось развернуться... Ну, вот теперь и расплачиваемся.

— Кому ты это пѣл: «И умереть у ваших ног?»

— Никому. В прежней моей жизни я никому не пѣл этого так, как сейчас тебѣ...

Он вдруг нервно и бурно провел пальцами по струнам, вздохнул и опять взволновался.

— Хорошо, — тихо сказал: что ты пришла ко мнѣ. Ах, хорошо....

**
*

Сквозь шум метели Анна различала хлопанье дверей, голоса в прихожей. Заглянув туда, увидѣла невысокую фигуру в свитѣ, укутанную платками, так забѣленную снѣгом, что в полутьмѣ рѣзко она выдѣлялась. Арина помогала ей раздѣться. Снѣг мокрыми хлопьями летѣл с косынок, с воротника свиты. Пріѣзжая добралась, наконец, до носового платочка и старательно обтерла им рѣсницы, тоже густо залѣпленныя. Нѣсколько оправившись, оказалась полной, довольно красивой женщиной с карими глазами и преувеличенно румяными от метели щеками.

— Меня чуть не занесло. Ну и метель... А, это вы... — она протянула Аннѣ руку: ко мнѣ Леночка заѣзжала, но я была в разъѣздах, а

потом эта метель, — только сейчас могла выбраться.

Несмотря на долгую ѣзду в полѣ (под окном кучер поворачивал запотѣлую пару гусем в пошевнях) от Марьи Михайловны, кромѣ свѣжести молодого тѣла пахло еще іодоформом — духами медицины. Поправив темные волосы, слегка покачивая полным станом, она увѣренно прошла к Аркадію Иванычу — как не быть ей увѣренной! — жизнь ея, земскаго врача, в том и состояла, что или она принимала у себя в Конченкѣ, или ѣздила куда-нибудь по вызову: тѣмже ровным и покойным шагом входила эта румяная женщина и к помѣщику, и к мужику, и к мельнику и к совѣтскому владыкѣ.

Увидѣв ее, Аркадій Иваныч слегка смутился, запахнул ворот рубашки. Но по всему лицу, как вѣтерок, пронеслось дуновеніе удовольствія: пріятно было ее видѣть, Анна замѣтила это. Привычным своим докторским взглядом замѣтила и Марья Михайловна, но другое: потускнѣвшій цвѣт его лица, вялую руку, припухлость под глазами. Разумѣется, виду не подала, что замѣтила. Но в добросовѣстном сердцѣ, тоже чужими лѣкарствами уж пропитавшемся, все это сложила.

Она сѣла рядом, заняв почти все кресло. Докторскій запах медленно и неукоснительно распространялся от нея. Аркадій Иванович взял ея руку, наклонился, и осторожно поднес к губам. Поцѣловав, не выпустил, продолжая слегка гладить.

— Теперь надо нам заняться здоровьем, по-

говорить и поизслѣдовать вас, сказала Марья Михайловна и спокойно отняла руку.

Анна вышла. Аркадій Иваныч продолжал смотрѣть на пріѣзжую тѣм-же ласковым взором — Марья Михайловна отлично все это знала, но в теперешней обстановкѣ даже не улыбнулась.

— Точно выпил хорошаго вина. Знаете, глоток Марго...

Марья Михайловна вздохнула.

— Глотков было достаточно. Столько глотков, прибавила, вновь всматриваясь в нездоровое тѣло его руки, что и за нашим братом пришлось посылать...

Анна не входила. Исповѣдь тѣлесных слабостей протекала без нея. Лишь часть того, что в нем происходило, мог разсказать словами этот длинный человѣк. Знал только слѣдствія: ночью тяжко дышать. Там-то больно. Пухнут ноги... Марья-же Михайловна прохладными, безстрастными глазами точно-бы производила сыск. В этих почти дѣвических глазах была невинность, как бы равнодушіе — они и открывали ей тайну тѣла немолодого мужчины, в безразличіи, лишь легком вздохѣ.

Анна стояла в столовой, прислонившись лбом к стеклу. Метель лѣпила неустанно. Теперь почти уж ничего нельзя было разглядѣть в ея вихрѣ — иной раз мелькали мчавшіяся куда-то, простираемыя мучительно вѣтви березы, потом опять тонули в сухом молокѣ. Овчарка прокатилась по дорожкѣ с раздутым, патлатым хвостом. Анна упорно разсматривала нароставшіе хлопья на стеклѣ... «Умирать будет, так без

женщины не помрет...» Снѣг налипал и вкось, и прямо. Звѣзды сливались, образуя почти сплошной узор, сквозь который сочился бѣлесый свѣт. «То говорит, что хочет все по хорошему, по Божію, а то и больной...»

Анна рѣзко оторвалась, подошла к двери, за которой было тихо. Вот он слегка застонал. Кровать скрипнула. «Покойнѣе, так, хорошо. Тут болевых ощущеній нѣт?»

Анна затихла. Вой метели, чуть пріоткрытая дверь, сдержанные голоса и все это простое, столь обычное дѣло, представились необычайно жуткими. Холодноватая струя, тянувшая от окна, почувствовалась ледяной. «Он тяжело, он очень тяжело болен. Как у них тихо...»

Она отошла, сѣла к столу. Подперев голову руками, уставилась на висѣвшее на стѣнѣ деревянное блюдо с рѣзною головою оленя. Блѣдный отсвѣт лежал на его узкой мордочкѣ, на рогах. Глаза были полузакрыты. Мертвенная скорбь в них. «Какая я дрянь, какая дрянь!» Анна хлопнула рукою по столу.

Когда через нѣсколько времени Марья Михайловна вышла из кабинета, ее поразил вид Анны.

— Что вы?

Анна пыталась что-то сказать, но не особенно удачно. Голубые-же глаза Марьи Михайловны были как всегда покойны.

— Гдѣ-бы мнѣ вымыть руки?

Анна покорно повела ее в свою комнату, покорно лила из кувшина воду. Марья Михайловна сбоку на нее взглянула ровным, фарфоровым взглядом.

— Вы ему близкій человѣк?

— Да. Я теперь тут живу.

Марья Михайловна неторопливо хрустѣла мокрыми руками, потом вытирала их полотенцем. В ея коротко стриженых смоляных волосах, в этих бѣлых руках, не знавших грѣха, во всем полном тѣлѣ было нѣчто подавлявшее. Анна задохнулась.

— Вам придется с ним много... повозиться.

— Какая у него болѣзнь?

— Нефрит.

— Это что значит?

Марья Михайловна объяснила. И прибавила, что ему надо дѣлать ванны. Анна вдруг перебила:

— Он умрет?

— Нѣт, почему-же... при хорошем уходѣ вполнѣ излѣчимо.

Анна замолчала. Ванны нѣт, о чем же говорить?

Остаток дня она безмолвно дѣйствовала по дому, но мысль о ваннѣ не оставляла. Гдѣ-бы достать?

Аркадій Иваныч не велѣл пускать домой Марью Михайловну по такой погодѣ. Он нѣсколько вообще оживился. Больше обычнаго разговаривал.

— Куда там ѣхать, я вам скажу, мы с покойным Балашовым раз в такую метель чуть вовсе не пропали.

Ему пріятно было вспомнить, разсказать, как возвращаясь с дальней облавы они заблудились у самаго Машистова и проплутали всю ночь.

— ...Дорогу мы потеряли, лошадей бросили, изволите-ли видѣть, лошади стали, а мы шубы поснимали и в однѣх куртках пробивались. Кучера и потеряли — в нѣскольких шагах пропал! Его потом нашли в ложочкѣ замерзшим. Балашов отморозил руку, я легче отдѣлался... И вооброзите, когда стало свѣтать, мы оказались на плетнѣ у крайней машистовской риги... Каких нибудь двухсот шагов до дому-то не дотянули. Нѣт, куда это я вас в темнотищу отпущу. Не модель.

...«Если бы в Мартыновкѣ была ванна, тогда что-же, конечно, добѣжала-бы. Ну, там они сердятся не сердятся, уж достала-бы. В деревнях кругом ни у кого нѣт. Развѣ у Марьи Гавриловны в Серебряном, дѣтская...»

Марью Михайловну Анна положила на свою постель, сама легла на диванѣ.

—Вы не волнуйтесь, заранѣе духом не падайте, говорила прiѣзжая, раздѣваясь: постараемся все сдѣлать, чтобы его поскорѣе поднять.

— Да, конечно, да... — как будто даже равнодушно отвѣтила Анна. — Постараемся.

Марья Михайловна раздѣлась с основательностiю, спокойствiем. Задула свѣчу, привычно легла в привычно-холодную постель. Анна про себя прочла «Отче наш». Нынче чувствовала она себя особенно одинокой. Метель не унималась. То слабѣе, то бурнѣй налетали ея шквалы. Не было-ли это каким-то морским странствiем, на немолодом кораблѣ, поскрипывавшем, дрожавшем, в мѣру многих лѣт едва сопротивлявшемся? Впрочем, качки не чувствовалось. Анна

и Марья Михайловна лежали недвижно, на спинѣ, как в гробах.

Аркадій Иваныч сегодня заснул. Из его комнаты ни стонов, ни вздохов не слышалось. Снилось ему что нибудь милое, прежнее? Или теперешняя Анна?

— Я вѣдь вас так поняла, сказала в темнотѣ пріѣзжая: что вы его невѣста?

— Да. Я ушла сюда от родных.

— Вам надо быть терпѣливой.

— Я знаю.

Марья Михайловна вздохнула.

— Вы еще так молоды...

— Это ничего не значит. Я его люблю, твердо сказала Анна.

— Нам, врачам, приходится видѣть много тяжелаго. Не говорю уж о теперешнем времени, о революціи, но и всегда то мы окружены бѣдами. Иногда очень устаешь...

— У вас есть дѣти?

— Двое.

— Вы их очень любите?

— Понятно.

Анна помолчала, вдруг сказала:

— Любовь страшная вещь.

Марья Михайловна подняла голову. Анна зажгла спичку, закурила. Она полулежала на своем диванѣ, подперев голову рукою. Красноватое сіяніе от папироски трепетало на ея лицѣ. Что то тяжелое, упрямое было в самой позѣ.

— Страшная вещь. Всего съѣдает. Вот как эту спичечку — тлѣет, золотится... — а там и вся перетлѣла, ничего не осталось.

Марья Михайловна усмѣхнулась.

— Ну уж это вы... Я сама была замужем, и тоже любила, но такого страшнаго ничего не испытала.

— Вы честная докторша... А замѣтили, что вы нравитесь Аркадію? Несмотря на болѣзнь?

— Что вы, о чем говорить...

— О том, продолжала Анна. — О том самом. Ему всѣ красивыя нравятся, вот о чем. Ему всѣх подай.

Начался разговор о любви. Анна высказывала мысли странныя, для Марьи Михайловны совсѣм непріемлемыя. Например, что когда ревнуешь, то вполнѣ можно убить, и она бы не удивилась, если бы ее убили. «Странная дѣвушка», думала Марья Михайловна: «искаженное направленіе мыслей... а с виду такая здоровая». Анна-же утверждала, что она удивилась-бы, даже ей было-бы непріятно, если-бы любимый человѣк, при ея измѣнѣ, не убил-бы ее.

Марья Михайловна не возражала. Всѣм своим честным тѣлом, красивыми глазами и прохладно-гуманитарною душой она отрицала «такое». Мягко относясь к людям, подумала, что вѣрно Анна многое перенесла.

— Мнѣ одна женщина разсказывала, она очень любила. А он ей всегда измѣнял... он при том еще женатый был. Это тянулось десять лѣт. И знаете, она всѣ десять лѣт страдала, а потом он умер. Она мнѣ и говорит: «теперь я покойна. Под землей уж он мнѣ не измѣнит». Вот что значит ревность...

— Это была сумасшедшая и злая женщина.

— Да, навѣрно... Всѣ мы сумасшедшія.

Анна замолчала. Нѣсколько времени все

было тихо. Она не курила больше. Легла ничком. Вдруг привычное ухо Марьи Михайловны уловило рыданія.

— Анна?

В темнотѣ руки хлопнули по подушкѣ. Несмотря на то, что под шубою было тепло, а в комнатѣ холодно, Марья Михайловна добросовѣстно встала, подошла к дивану. Анна, дѣйствительно, плакала. Утѣшительница сѣла рядом, стала гладить ей затылок, цѣловать его.

. . . .

— Не думайте, что я такая дрянь... Ну, я конечно, дрянь, но все-же не такая. Я вам клянусь, вот святым Божіим крестом, если-б сейчас моя жизнь потребовалась, для его спасенія и счастья, я-б минутки не подумала... Но этого не нужно. А выносить, чтобы он с другими ласков был и к другим-бы стремился, я все равно не могу... такая родилась.

. . . Ах, я вам, почти незнакомой женщинѣ такія вещи разсказываю, но мнѣ нынче очень страшно, очень грустно, так тяжело, некому сказать... Я всю жизнь одна была. Да, я много видѣла. И всегда мнѣ казалось, что скоро я умру.

Она сѣла и даже прижалась к Марьѣ Михайловнѣ.

— Какой вѣтер, какая метель! Хоронят нас. Я вспоминаю — я еще дѣвочкой, в такую-же ночь... тогда вотчим маму избил... я его хотѣла сначала зарѣзать... а потом рѣшила — лучше сама помру... и вот так ночью в метель форточку отворила, высунулась почти голая, все думала простужусь, помру... и выжила... а потом

и мамочка умерла, я одна осталась, в чужих людях... Будто бы у дяди с тетей и сейчас живу, работаю. Нѣт, я это все бросила. Я Аркадія полюбила, я его навсегда полюбила, вы не слушайте, что я иной раз подлости горожу, он слабый человѣк, но такой хорошій, такой ласковый, как никогда еще никто со мной не был. А я стерва... Что он мнѣ плохого сдѣлал? Я по сумасшедшему своему характеру сама все на него выдумываю. А вот теперь он болен.

Анна остановилась. Марья Михайловна чувствовала себя во второй бурѣ. Первая бушевала за стѣнами, сѣкла снѣгом, продувала ледяными струями старый дом, от нея зябли ноги. Вторая огнем крутила тут-же рядом. От нея слезы медленно стекали по гуманитарному лицу.

Вдруг Анна схватила ея руки, стала цѣловать.

— Спасите его, помогите... спасите. Я знаю, он ужасно болен, но спасите...

— Успокойтесь, ничего, все обойдется.



Немѣшаевы размѣстились в Красном домикѣ, своем бывшем флигелѣ, с тою простотой и непринужденностью, точно и всегда там жили. Леночка завѣдывала библіотекой (болѣе финтила в большом домѣ с пріѣзжими). Муся откровенно ничего не дѣлала. Костя работал.

— Я бы, конечно, с удовольствіем дала вам для Аркадія ванну, говорила Марья Гавриловна, помѣшивая на печуркѣ пшенку (лѣниво, но также спокойно, точно всю жизнь этим только и

занималась): но дѣло в том, что наша ванна, в которой мы еще дѣтей купали, уж не наша. Вы понимаете?

Она поправила накинутую на плечи шубенку, пустила струю табачнаго дыма и привѣтливо взглянула на Анну карими глазами.

— Вам придется обратиться к Похлёбкину. Чухаева из предсѣдателей уже выставили... слишком, оказывается, сам буржуй. А этот еще держится... Пьянствует с новым предсѣдателем, да в Народном домѣ на сценѣ играет. Попробуйте к нему обратиться... Да он, кажется, к вам и не совсѣм равнодушен был... — Она слегка усмѣхнулась: тѣм лучше. Так, так... Аркадій бѣдный все страдает... ах-а-ха... Мнѣ и Марья Михайловна говорила. Навѣщу, навѣщу, жаль мнѣ его.

Выйдя во двор, Анна поднялась по ступеням стекляннаго подъѣзда. Туда входили и выходили мужики в свитах, в бараньих тулупах, тяжелых шапках. Пузатыя лошадёнки, с монгольскими вихрами, патлами, жевали у комяги корм в подвѣшенных к мордам мѣшочках. Анна бывала в этом домѣ еще когда Немѣшаевы в нем жили, когда был здоров Аркадій... И встрѣтились то они здѣсь. Да, но сейчас все другое. Некогда об этом даже думать, пришло - ушло, нужно ей только одно, свое.

Мокрые слѣды вели в залу. Там стоял синеватый туман, ѣдкій запах махорки, полушубков, отсырѣвших валенок. В комнатах справа за столами строчили бѣлобрысые писаря. Мужики, бабы покорно ждали.

Анна нашла Похлёбкна в дальней комнатѣ

на антресоли, он был «у себя», в своем «рабочем кабинетѣ» (там-же, впрочем, и спал). В данную минуту подзубривал роль. Вечером ему предстояло выступать в Народном домѣ.

Увидѣв Анну, искренно обрадовался.

— Рѣдкій гость, милости прошу садиться, давненько не приходилось видѣть...

Он был отчасти воодушевлен самогоном, недопитая бутылка выглядывала из-под этажерки.

— Ах какое дѣло, Аркадій Иваныч больны... Жалко, жалко... Ну, Бог даст, весной с ним опять на тягу закатимся... Так вы говорите ванну? Оно конечно...

Похлёбкин задумался.

— Ванночка тут внѣ разсужденія имѣется — еще немѣшаевская. Дѣло-же однако в том, что у нас новый предсѣдатель... он сам-то ничего, живет рядом со мной в комнатѣ, да женат, дитя имѣется, развел, знаете-ли всю эту брачную анатомію, ему для дитёнка не понадобилось-бы, а то разумѣется для такого случая... с возвращеніем по минованіи надобности... — это уже безо всяких... и никаких рябчиков.

Похлёбкин вскочил, блеснул лоснившимися, в угрях, щеками, на ловких ногах в обмотках выскочил посовѣтоваться с разводителем брачной анатоміи.

«Артист», подумала Анна хмуро. Но сейчас ничто не занимало ее: ни Похлёбкин, ни тихій, бѣлый снѣг, лежавшій за окном в паркѣ пухлой и такой нетлѣнной пеленою. Ей нужна была ванна.

Артист не сразу добился просимаго. Брачная анатомія сперва заупрямилась. Пришлось при-

вести ее к себѣ. Анна была так покойна, так мрачна и так безконечно увѣрена, что возьмет, — что молоденькій предсѣдатель, только что назначенный из города, не устоял.

— Ну, ладно, Андрюшку в корытѣ помоем.

И через четверть часа тот-же Похлёбкин погрузил небольшую ванну в салазки, попробовал, горестно хлопнул себя по боку.

— Ничего, сказал Анна: довезу, я сильная.

— Э-эх, была-б лошаденка, я бы вам с нашим удовольствіем....

В качествѣ артиста и любезнаго человѣка он помог, однако, и самолично: довез салазки до парка. Анна поблагодарила, дальше пошла одна. Она просто впряглась, бичевка охватывала ея живот. Наклонив верхнюю часть тѣла, наваливаясь, она медленно везла свой груз. Ванна подрагивала, на ухабах накатывалась, издавала иногда глухой звон. Парк Серебряного был сейчас очень серебрян, весь в инеѣ, в тихом обвороженіи, густо и сонно заметены его аллеи. Гдѣ-то сквозь облака слегка сочится солнце. Не солнце, а блѣдный на него намек, добрый знак — не вполнѣ мір осиротѣл. Но и от знака уж искрятся по полям и в тишинѣ аллей парка удивительные алмазы, нѣжно и мелко переливают. Они дают снѣгу тонкую, нежизненную жизнь, и загадочно стрекочут в этой жизни перепархивающія сороки.

Анна не очень-то все это замѣчала, все-таки тишина, блеск полей странным образом дѣйствовали на нее — погружали в особенное бытіе.

Тяжко шагала она по скрипучему, иногда зеркальному накату дороги с кофейными пят-

нами. Рѣжущій вѣтерок, ослѣпительность снѣга, далекій лай собаки... Ни Аркадія, ни себя, ни груза: так она с ним и родилась, привычно шагает.

Спустившись в ложок к мостику, она должна была подняться на крутой бок оврага.Здѣсь намело сугроб. Видно было, что и лошади протыкались по брюхо. Аннины салазки никак вперед не подавались, и сама она вязла. Сколько ни билась, двинуться вперед не могла. Тогда рѣшила ждать — кто нибудь проѣдет, подвезет.

Ждать пришлось недолго. Анна была нѣсколько даже удивлена, когда на бугрѣ, выше себя, прямо на блѣдном небѣ, точно он с него спускался, увидала знакомаго гривастаго коня, розвальни и доху Матвѣя Мартыныча.

Еще больше удивился сам Матвѣй Мартыныч. Он рѣзко остановил лошадь.

— Анночка, что ты здѣсь дѣлаешь? И-с ванной?

Он быстро подбѣжал, проваливаясь на ходу в снѣг сугроба.

Его квадратное лицо раскраснѣлось от мороза, на усах ледяшки, глаза живы и возбуждены.

... — Сама на себѣ тащишь эту ванну?

Анна объяснила. Он взял ея руки, стал грѣть в своих рукавицах. Голос его вдруг дрогнул.

— Анночка, ты от нас ушла... знаю, я ничего тебѣ не говорю, Анночка. Я все и-хотѣл к тебѣ заѣхать, да Марта говорит: ну, ушла, значит, мы ей ненужны...

— Я ушла не потому. Я тетѣ говорила.

— Ну, знаю, знаю.

Анна устало сѣла на край ванны.

— Я ничего против вас сдѣлать не хотѣла...

— Ах, что тут сказать... ты молодая дѣвушка, он и всегда дѣвушкам нравился.

Матвѣй Мартыныч говорил быстро, смѣсь волненія, грусти и почти даже восторга сквозила на его простом лицѣ — он дѣйствительно рад был встрѣтить Анну, это она чувствовала.

— Ладно, ладно, говорил впопыхах: эту ванную мы сейчас на мои санки, я коня повертаю, что тут подѣлаешь, я тебя у Машистово вполнѣ доставлю.

И дѣйствительно, через нѣсколько минут погрузили они ванну, конь рванул, и не без труда, храпя, фыркая, чуть не порвав шлеи, вынес на изволок.

Матвѣй Мартыныч посадил Анну на облучек, сам шел рядом и все держал ея руку. Он был очень взволнован. Говорил торопливо, маленькіе его глазки сверкали, иногда видѣла в них Анна, глядѣвшая пристально и внимательно, даже нѣчто похожее на слезу.

— Я без тебя совсѣм соскучилси... даже я не думал, что так привязалси... Я все хожу, все по свиньям хожу, и все думаю: гдѣ-то моя Анночка? Ну, конечно, я понимаю... А я хожу по свиньям, то я и думаю: почему она не меня любит?

Анна усмѣхнулась.

— Что вы говорите... Что бы это было, дядя! Уж и теперь Марта...

— Ну, конечное дѣло, Марточка моя супруга, я вѣдь и не говорю, я честный латыш, всегда был честный, а все-жь таки в головѣ мысли...

—Мысли надо гнать, сказала Анна. — Мало-ли у кого какія мысли.

ПУТЬ

Марья Михайловна сидѣла в столовой у стола. Анна за самоваром. В окнѣ блѣдно-синѣли сумерки. Дальніе снѣга смывались в них и как бы таяли.

От самоварнаго пара окно стало слегка запотѣвать. Угли краснѣли сквозь рѣшеточку мѣднаго поддувала.

Передав чашку Марьѣ Михайловнѣ, Анна правой рукой взяла со стола большой конверт, повертѣла его, опять положила. Глаза ея были красны.

— Этот пакет пришел третьяго дня. Все тут и валяется. Знаете, что в нем?

Марья Михайловна подняла глаза.

— Нѣт.

— Тульская консисторія извѣщает Аркадія Ивановича, что развод окончен.

Она чуть-чуть усмѣхнулась.

— Мы могли-бы теперь обвѣнчаться.

Она зажгла спичку, закурила, минуту помолчала. Огонек отсвѣчивал в углах глаз, гдѣ остановилось по слезѣ.

— Я давно чувствовала... а когда вы велѣли его остричь, и совсѣм поняла. Он для меня стриженый стал немножко другим... в родѣ какого-

то бѣднаго татарина. Я все на него смотрѣла и думала: «это вот он и есть, Аркаша, кого люблю».

Она встала, подошла к полуоткрытой двери, прислушалась. В домѣ было тихо. Но особая, нечеловѣческая тишина шла из этой комнаты.

Анна вернулась.

— Он был со мной как ласков! Знаете, по ночам, когда так ужасно задыхался... несмотря на эти ванны! — я ему растирала грудь, спину... будто легче становилось. Он все мнѣ руку цѣловал, и так глядѣл на меня... Еще третьяго дня, я подошла, он взял мою руку, поднес к глазам, стал по вѣкам водить. Что это он хотѣл выразить? А мнѣ сказал, тихо, но внятно: «я очень рад, что ты здѣсь со мною. Я... тебя — Анна запнулась: очень люблю».

— Слава Богу, что вы могли с ним теперь быть.

— Да. Я и всегда с ним буду... Да, он еще говорил, раза два, знаете, его любимое, он и здоровый это повторял нерѣдко: «не судите, да не судимы будете». Он все считал себя большим грѣшником, и что его пожалѣть надо.

Вошла Арина.

— Ну, что, Анна Ивановна, я Семену говорю: дядя Семен, там сосна-то у вас срѣзана и досточки напилены, попроси мужичков, поклонись, что мол уступите нам для гробика. Он хоть барин длинный был, на него, конечно, доска идет порядочная, да вѣдь и сосёнка то из ейнаго-же сада. Понятно сад теперь общественный, а вы мол все-таки уважьте. Ну, ничего,

уважили. Дядя Семен гробок ладит. Даже завтра пойдут могилу рыть.

— Его не только ваши, а и по округѣ мужики любили, сказала Марья Михайловна. — Всѣ жалѣют.

— А чего он злого дѣлал? За что его нелюбить? Настоящій барин, видный...

Арина слегка сапнула носом.

— Раньше своих лѣт скончались...

Анна встала, направилась в его комнату. Арина кивнула на нее.

— Ну, как-же так не убиваться... Жениться хотѣл, честь честью...

Анна довольно долго пробыла там. Когда возвратилась, в столовой было почти темно. Самовар скупо бурлил. Краснѣли его угольки.

— Я опять у вас переночую, сказала Марья Михайловна.

— Благодарю вас.

И онѣ провели вмѣстѣ этот зимній вечер. В комнатѣ Аркадія Иваныча зажглись двѣ свѣчи, а онѣ долго сидѣли в той-же столовой, затопив голландку и не зажигая огня. Анна не закрыла дверец печки, и веселый, красно-золотой огонь танцовал, прыгал по полѣньям, дрожал пятнами по желѣзному листу, по полу, обоям. Говорили мало. Обмѣнивались нѣсколькими словами. Вспоминали ушедшія мелочи.

Взошел мѣсяц. Его свѣтлые ковры, полные легкаго дыма, легли из окна, медленно переползали по полу, одѣли угол стола, спустились по ножкам, подбирались к шахматному столику в простѣнкѣ.

Около полуночи Марья Михайловна объявила, что пора спать.

— Вам надо именно заснуть, сказала она Аннѣ.

Потом обняла ее, прижалась полной щекой к ея шеѣ, шепнула:

— Я знаю, я все знаю... Все таки, надо силы беречь. Я вам дам снотворнаго.

— Хорошо, покорно отвѣтила Анна. Но перед сном мнѣ хочется пройтись. Я вернусь скоро.

И надѣв шубейку, вышла в сѣни.

Дверь, как и тогда, когда впервые, с чемоданчиком вошла она в этот дом, была незаперта. Но теперь это не удивило и не огорчило ее.

Она пошла по дорожкѣ, протоптанной в саду по тому краю, откуда снѣг сдувало, его было тут немного. Слабо, но таинственно гудѣли березы, окаймлявшія четырехугольник фруктоваго сада. Анна дошла до конца. Дальше начиналось поле с дорогою у самой канавы.

Тусклое поле сіяло, мрѣло в блѣдно-опаловом свѣтѣ. Мѣсяц в радужном кольцѣ недосягаемо бѣжал за облаками.

Было тихо. Лишь собака очень, очень далеко, точно с того свѣта, глухо лаяла. Ясно виднѣлся парк Серебрянаго и лѣс направо.

Аннѣ стало немного холодно. Не отдавая себѣ отчета, она обернулась. В домѣ свѣтилось одно окошко.

. . . Может быть, он был и тут, в этом лунном дыму, может быть, чтобы достать, досягнуть до него, разлившагося невѣдомым свѣтом, надо

еще куда-то дальше пройти, в неизвѣстную комнату...

Донеслось поскрипываніе полозьев. Анна вновь перевела взор на дорогу. Так когда-то ждала она его у сада в Мартыновкѣ, осенью, но тогда слабо позвякивали дрожки. Теперь все яснѣе скрипѣли розвальни. Была видна уже лошадь, шедшая средней рысью. Анна спустилась на дорогу. Лошадь вдруг захрапѣла, заиграла ушами и перешла на шаг. Потом боязливо остановилась. Лежавшій в розвальнях человѣк в тулупѣ с поднятым воротником очнулся и сѣл.

— Фу-ты ну-ты... это куда-же нас занесло?

Он тронул лошадь вожжей и обратился к Аннѣ:

— А ты что за фигура?

— Да ничего. Просто стою.

— Вижу, что стоишь... Фу, дьявольщина, задремал... да гдѣ мы это? Выселки, что-ли?

— Нѣт. Машистово. Здѣсь барскій сад, а там деревня.

Человѣк откинул ворот тулупа, обтер короткіе усы, окончательно очухался и полѣз доставать папиросу.

— Значит, тут Аркадій Иванов живет?

— Да, отвѣтила Анна. — Жил. Он вчера умер.

— Умер! Скажи пожалуйста!

На проѣзжаго это произвело непріятное впечатлѣніе. Он быстро чиркнул спичкой, сдѣлав руки корабликом зажег в них папиросу и взялся за рукавицы. Теперь Анна довольно ясно разглядѣла над короткими усами широкій нос и маленкіе, острые глаза.

— А ты кто? спросила она.

Он тронул вожжи, ухмыльнулся.

— Помер!! А я к нему все собирался. Я и тебя теперь знаю... латышова племяшка...

— Как тебя звать? крикнула Анна, сама не зная почему.

Лошадь шла уже рысью. Проѣзжій обернулся и захохотал.

— Чай не новый гор! Ну, изволь: Трофимом.

И стеганул коня. Анна постояла, медленно пошла домой. «Трушка, тот, что зарѣзал ефремовскую барыню!»

ОТЧІЙ ДОМ

Маленькій Мартын сидѣл около кровати, устраивая вокруг особый свой мір. Тут была и ферма, и коровы, барашки, палисадник, который можно было раздвинуть так и этак, деревья — из них получалась, по желанію, и рощица, и ограда усадьбы. Мартын, мальчик спокойный, росшій одиноко, жил очень хорошо созиданіем и разрушеніем своих міров. Зимнее солнце ложилось на пестрое стеганое одѣяло родительской кровати. На полу он воспроизводил то, что успѣл увидать в жизни — играл основательно, добропорядочно, как полагалось молодому Гайлису.

Хлопнула дверь в сѣнцах. Потянуло холодом. Марта внесла ведро воды, тяжко поставила в кухнѣ на пол. Матвѣй Мартыныч в вязаной фуфайкѣ чинил хомут. Он сидѣл у стола, слегка сопѣл, фуфайка его теплилась в солнечных лучах, но не так горѣла, как пестрое одѣяло над Мартыном и его подушками.

— Марточка, ты посмотри какой у нас Мартынчик умный: он себѣ и-сидит, и все у хозяйство играет, вот он вырастет, то это будет такой дѣльный латыш, он забьет и папашу и мамашу.

— Мамаша и так вѣрно скоро ноги протянет,

сказала Марта, снимая кофту. — Коровы, свиньи, воду таскай... вчера ночью как сердце замирало...

Марта, дѣйствительно, имѣла вид неважный — еще худѣе и жилистѣй чѣм обычно.

— Я-же конечно понимаю... — Матвѣй Мартыныч туго стянул шов дратвой: без Анночки тебѣ и-плохо...

Марта ничего не отвѣтила, устало принялась засучивать рукава.

— Мнѣ намедни мужики говорили, ну и там на деревнѣ... мол Анна теперича у Конченки, у докторши пріютилась, и что-же это вы, латыши, свою дѣвку в чужих людях оставляете...

Марта перевела на мужа холодный взор. Потом подошла к сыну, молча, страстно его поцѣловала. Мальчик обнял ее за шею, дѣловито обхватил ногами талію.

— Я так считаю, продолжал Матвѣй Мартыныч: да и что ей теперь у докторши у этой дѣлать? Аркадій Иваныч померши, всѣ глупости конец, а мы ей и-все-таки свои. Она, понятно, тебѣ то се другое дома подмогала бы...

Марта высоко подняла Мартына, солнце пробѣжало по ним обоим лучем мгновенным и золотистым. Она поставила сына на пол. Зеленоватые ея глаза блеснули.

— Ладно. Я сама поѣду. Мнѣ как раз и к докторшѣ надо. От этих тяжестей еще Бог знает чего наживешь.

Матвѣй Мартыныч знал, что у нея женская болѣзнь и что, конечно, ей пора лѣчиться. Правильно было и то, что если Марта за ней пріѣдет, Анна скорѣе вернется. И тѣм не менѣе

он предпочел-бы съѣздить сам. Возражать, впрочем, не стал.

Послѣ обѣда запряг лошадь в пошевни. Марта надѣла тулуп, рукавицы, взяла кнут и усѣлась поудобнѣе. Ноги закутал он ей тяжелым бараньим одѣялом.

День был морозный, лошадь в инеѣ, синія тѣни ложились от саней, от высокой фигуры Марты. Снѣг скрипѣл. Лошадь казалась лиловою. Ровной рысью вывезла она Марту, как истукана, мимо цинковаго подвала из усадьбы в сверкавшее снѣгом поле. В таком полѣ в январскій солнечный день слѣпнут глаза!

Матвѣй-же Мартыныч остался один. Он был увѣрен в мудрости сына и позволил ему в одиночествѣ играть у постели. А сам взял двустволку, лыжи и отправился по зайчикам. Еще совсѣм недавно так-же мог бы выйти и Аркадій Иваныч, но сейчас он безмолвно лежал в могилѣ близ церкви Серебрянаго, а Матвѣй Мартыныч благодаря его смерти испытывал странно-противорѣчивое чувство: искренно его жалѣл, не меньше того искренно волновался, что теперь вернется Анна. «Марточка ее привезет, это, конечно, что привезет, тут и сказать нечего, вечером Анночка будет и-здѣсь», размышлял он, шагая на мохнатых лыжах, подбитых оленьим мѣхом, по горящему насту. Милліоны алмазиков струились и переливались в нем, рѣжа глаз. Стеклянно-зеленое небо вставало над ложком, весь он был в синей тѣни. Шуршали коричневые листы дубов, кое-гдѣ уцѣлѣвшіе. Матвѣй Мартыныч, всматриваясь в серебряныя цѣпочки слѣдов, держа двустволку наперевѣс —

(в том орѣховом кустѣ отлично мог залечь бѣляк) — был полон во всем нем разлитого волненія-счастья. Бѣляка в кустѣ не оказалось. Матвѣй Мартыныч пошел вверх подъемом лога — тут оленій мѣх помогал лыжам, онѣ не скользили назад. И когда выбрался на край, вся сіяющая, слѣпящая в солнцѣ снѣжная страна ему открылась, с зелено-ледяным небом над нею, с ломким и как-бы хрустально-твердым воздухом. С дороги несся скрип саней, остро рѣзал ухо. Но больно не было. Напротив, радостно. Направо Серебряное и Машистово, это неинтересно. А вон туда, гдѣ на горизонтѣ голыя березы большака, другое дѣло, там видна вѣтряная мельница, и за мельницей в ложочкѣ Конченка...

Так охотился Матвѣй Мартыныч, искал будто-бы бѣляков и ничего не нашел, кромѣ сіяющаго поля, кромѣ своего сердца, о котором не думал, но которое не спрашивало его, добропорядочнаго хозяина и столпа общества, как ему биться: билось по міровым законам плѣна, по тѣм самым, что на этих-же мѣстах владѣли Анной.

Нынѣшній день в Конченкѣ был так-же морозен и лучист как и в Мартыновкѣ. Анна шила на кухнѣ Марьи Михайловны, в небольшом свѣтлом домѣ с окнами в блистающее поле. Ледяной вѣтер нес с востока прозрачные уколы. Окно кухни намерзло. Рядом, в комнатѣ Марьи Михайловны стояла чистая бѣлая кровать, пахло медициной, на стѣнѣ висѣл портрет Толстого, под ним открытки Художественнаго театра. В столовой играли дѣти — мальчик и дѣвочка. Оттуда виднѣлась через двор больни-

ца. У ея подъѣзда нѣсколько мужицких розвальней.

Анна не удивилась, увидѣв Марту. Правда, она о ней вовсе не думала, но и явленіе Марты представилось таким простым. Марта, оледенѣлая и закутанная, ввалилась прямо в сѣни. Дѣти высунулись и спрятались. Марья Михайловна была в больницѣ.

— Ну вот, сказала Марта, присѣв в столовой, снимая рукавицы около печки. — И я пожаловала. Гдѣ-же твоя докторша?

Анна объяснила.

— Дойду и в больницу. Мнѣ и там есть дѣло.

Анна задала нѣсколько вопросов о Мартыновкѣ. Марта отвѣтила спокойно и дѣловито. Помолчали.

— Что-ж ты тут так и поселиться собралась?

— Нѣт... не знаю. Пока, временно.

— Ну, а дальше?

Анна не отвѣтила. Побѣлѣвшія от мороза щеки Марты оттаивали, но вся ея худая, сильная фигура понижала температуру. Анна ощущала равнодушіе и покорность.

Марта объяснила, что за ней именно и пріѣхала. Анна держала на колѣнях, скрещенными, большія красныя руки. На них в задумчивости устремлен был взгляд темных глаз.

Марта держалась так дѣловито, увѣренно, прохладно, что Аннѣ представилось — вот ее, Анну, просто снесут, положат в сани, сани-же пойдут куда приказано... и так уж и надо.

Марья Михайловна в больницѣ тоже не весьма удивилась Мартѣ. Добросовѣстно ее осмотрѣла, добросовѣстно дала лѣкарств, велѣла прі-

ѣзжать еженедѣльно. И лишь когда вернулась с ней домой и увидала Анну, как бы грусть прошла в ея глазах.

— Так скоро? Нынче? Что вам торопиться?

— Нѣт, уж сразу, отвѣчала Анна. — Ѣдем.

И через час двѣ закутанныя женскія фигуры засѣдали в пошевнях, которыя бодро вез, посапывая и похрапывая, сѣдѣя в инеѣ, намерзавшем у него даже в ноздрях, конь Матвѣя Мартыныча. К Мартыновкѣ подъѣзжали в мглистом закатѣ, когда солнце развело послѣднія свои туманно-багровыя пожарища, а в низинах уже залегал сизый, плотный сумрак. Зима, холод, Мартыновка, все это было для Анны такое-же, как и всегда.

У подъѣзда встрѣтил их Матвѣй Мартыныч.

— Анночка пріѣхала! Ну я же так и знал, что пріѣдет. Я так и говорил.

Ошибиться он не мог. Анна равнодушно вылѣзла из саней.

* * *

В ея отсутствіе для поросят отвели особый чуланчик, болѣе теплый и свѣтлый — одной стѣною он примыкал к дому. Дѣти Люціи и погибшей Матрены населяли его. Они попали теперь вновь в завѣдыванье Анны. Из розово-глянцевитых обратились в живых, вострых хрячков и свинок, погрубѣли, обросли жестковатыми волосами, указывавшими на принадлежность их к низкому царству. Когда Анна вносила им в ведрѣ дымившееся пойло и выливала в корыто, они визжали, радостно бросались к ея ногам, друг друга-же расталкивали не без

наглости. В этом бойком свином юношествѣ Анна не могла уж различить, кто от Люціи, кто от Матрены, да они и сами все забыли. Недалек был час, когда сын Люціи с не совсѣм честными намѣреніями подошел-бы к матери.

Анну, впрочем, не весьма это занимало. Безразлична она была и к выраженіям радости своих питомцев. Пищу носила им добросовѣстно, и убирала, чистила что надо. Вообще, жила обычно. Так-же рано вставала, так-же послѣ ужина подымалась к себѣ в комнатку встрѣчать наединѣ ночь. Над ея постелью висѣла фотографія Аркадія Иваныча, захваченная из Машистова, с надписью, уже ослабшею рукой: «Аннѣ, на вѣчную память».

Она ложилась на свою постель как бы у его ног. Она не могла пойти в Машистово и увидать его. Не он покоился сейчас, под нараставшим снѣгом, на кладбищѣ Серебрянаго. Но все-же он был тут. Не менѣе громадный, даже болѣе. Да, он не мог уже теперь ни измѣнять ей, ни быть вѣрным. Занимал какія-то таинственныя, грозныя высоты. Разсмотрѣть их и понять было нельзя. Господь давал ей чувствовать страшныя свои тайны.

— Все Анночка скучает, говорил Матвѣй Мартыныч Мартѣ. — Значит, все забыть не может...

Марта не особенно поддерживала такіе разговоры. Матвѣю-же Мартыньгчу не очень сладок был мрак Анны. Странное его волненіе расло.

— Анночка, сказал он ей однажды, около колодца, когда Марты не было поблизости: что

ты? Еще такая молодая, чего тебѣ там... Другого полюбишь и тебя всякій полюбит. Ну, и умер Аркадій Иваныч, да вѣдь всѣ помрем, а пока что ты-же и у своих, и слава Богу все ничего, бѣдности нѣту, и развѣ мы с тобой плохо обращаемся?

— Нѣт, отвѣчала Анна: я довольна. Ты ко мнѣ всегда хорош был — она чуть улыбнулась.

— Чѣм не хорош! Я завсегда о тебѣ думаю... Ну, конечно, будь я молодой, холостой... Я все понимаю, я умный латыш, Анночка. Мнѣ недавно Марта говорит: ты какой стал, я знаю, у тебя все свое на умѣ... И даже заплакала. А что у меня на умѣ, я совсѣм неглупый, я теперь больше не о свиней, а о тебѣ думаю.

Анна вытащила из обледенѣлаго колодца бадью, вылила в ведро, сильною рукой подняла его и двинулась. Потом остановилась.

— Ты Марту не трогай. Особенно Марту. Не обижай. А то тебѣ-же хуже будет.

Матвѣй Мартыныч удивленно взглянул на нее из под ушастой зимней шапки.

— Я и не собираюсь Марточку обижать...

— Собираешься не собираешься, — серьезно, и как-то медлительно сказала Анна: ты не знаешь. Ты сам многаго не знаешь. Вот и берегись.

Эти слова произвели странное, какое-то смутное впечатлѣніе на Матвѣя Мартыныча. Цѣлый день сидѣли они в нем, и день казался неспокойным, не совсѣм обычным. Лежа вечером на супружеской постели рядом с Мартой, в темнотѣ зимней ночи вдруг ощутил он страх, какую-то тоску... «И чего это она? Чего она го-

ворит?» Вспоминая сейчас Анну, он испытывал как всегда сладкое волненіе, но и другое... — Мрак, ночь, вот часы тикают, Марта во снѣ неровно дышит... «Анночка как туча... А я Марточку вовсе не собираюсь обижать, что такое», думал он почти с раздраженіем. «Чего она меня учит? Я всю жизнь честно с Марточкой прожил...» Заснуть ему было трудно. Вѣтер гудѣл. Ночь развернулась. Не было предѣла ея мраку.

Утром Марта встала кислая, с болями в поясницѣ. Она собиралась к докторшѣ. Был сырой день, сильный вѣтер гнал с юга оттепель. Небо в темных облаках почти лежало на землѣ. По двору сразу забурѣли тропки, вороны летали против вѣтра зигзагами, садились на скользких вѣтвях, тужились, каркали, и вѣтер взлохмачивал тусклый пух на их брюхах.

Цвѣт лица Марты, выраженіе ея глаз, круги под ними, замызганная свита, которую она надѣла, все очень шло к сумрачному дню. Влага его еще сильнѣе развела всѣ свиные запахи в Мартыновкѣ. Когда пошевни Марты скрылись за поворотом и Анна понесла пойло поросятам, мягкая теплота и кислота его особенно пронзили ее. Особенно осклизло было и в хлѣву у поросят. И они сами, в безсмысленно-животной жадности своей показались особо мерзкими. Анна прислонилась к стѣнкѣ. Ее нѣсколько мутило. Она вспоминала о Мартѣ — и ясно представила себѣ тусклое поле с ухабистою, сырой дорогой, ныряют пошевни, и каждый ухаб, навѣрно, отдается в утробѣ Марты... Нѣт, она ѣхать сейчас в Конченку вовсе-бы не хотѣла. В этих бурных полях, оттепельно-предвесенних,

с ума можно сойти. «Впрочем», подумала Анна: «я, может быть, и вообще уже сумасшедшая». Она улыбнулась. Ей пріятно стало, что ничто не связывает ее с этим хлѣвом, с кислым запахом, с воронами, Матвѣем Мартынычем.

— Анночка, крикнул Матвѣй Мартыныч, поди пожалуйста помоги мнѣ сундучек тут...

Сундук с вещами Немѣшаевых стоял у него в сарайчикѣ. Теперь, из-за сырой погоды, он надумал перетащить его в подвал с цинковою крышей гдѣ, считал, сырости быть не может, и вообще надежнѣе.

— Ты, Анночка, понимаешь... вещи чужія, время такое... Одно-два бревнышка выпилил, вот и уже ты в сарайчикѣ. Ну, тут буде потруднѣй... У Матвѣя Мартыныча подвал знатный. Тут не подкопаешься... Развѣ что миной взрывать.

Сундук был не очень легкій. Он постукивал, погромыхивал по ступенькам подвала, когда Анна с Матвѣем Мартынычем волокли его туда. Внизу горѣла уже лампа. Под цементными сводами, гордостью Мартыновки, было, дѣйствительно, несыро, и в том мѣстѣ, гдѣ стояла лампа-молнія, даже свѣтло. Вдаль к углам шли тѣни. В аккуратных закромах лежал корм свиньям — картофель, горы свеклы, темные, вязкіе как-бы пряники жмыха.

— Ну вот и хорошо, что принесли, говорил Матвѣй Мартыныч, отирая пот. — Вот мы немножки теперь вынем и развѣсим, надо-бы перетряхнуть, чтобы не слёживалось, чтобы все и-в порядкѣ было.

Анна стала вынимать вещи. К запаху кар-

тофеля и свеклы прибавился нафталин, и еще нѣжный запах дорогих мѣхов.

— Хорошо жили, важно жили, говорил Матвѣй Мартыныч, вынимая шубу покойнаго Александра Андреича. — Барская жизнь, и все и-кончилось. Но Матвѣй Мартыныч не завидует, он честно все сбережет, вот он и старается, чтобы не смялось, не слежалось чужое добро, потому что он добро любит, он не мошенник какой-нибудь...

«Александра Андреича давно нѣт в живых», думала Анна, перебирая руками драгоцѣнный, черноблестящій с нѣжными длинными ворсинками мѣх шубы. «Он лежит там-же, на кладбищѣ Серебрянаго, гдѣ и Аркадій... Они были пріятели».

— Анночка, а я смотрю, жмыха у нас маловато, надо будет мнѣ и-съѣздить...

Матвѣй Мартыныч озабоченно отошел в угол, едва освѣщаемый лампой. Тѣнь его безсмысленно перемѣщалась по стѣнам и сводам, принимая уродливыя очертанья.

Анна накинула на себя шубу. Как она легка, изящна! Мѣх мягко ласкал щеку. «Такая-же, навѣрно, была и у Аркаши. И они вмѣстѣ в Москву ѣздили. Александр Андреич тоже любил цыган». Анна на мгновеніе закрыла глаза. Точно знакомое и милое объятіе из иной жизни обняло ее.

«Они оба лежат в Серебряном, но это не они. Гдѣ они?»

Ей казалось сейчас, сквозь закрытые глаза, с этим мѣхом, что и она другая, сама она не

тут. Она сдѣлала два шага вперед. Если вот так итти...

— Анночка, тебѣ как хорошо и в этой шубѣ...

Матвѣй Мартыныч подошел — ея глаза были уже открыты. Он взял концы рукавов и скрестил их на Аннѣ.

— Если-бы Матвѣй Мартыныч был богат, он бы и тебѣ такую шубку сдѣлал.

— А Мартѣ?

— Ну и Марточкѣ бы конечно... Анночка, ты и в этой шубѣ словно как царица...

— Ты цариц никогда не видѣл, сказала Анна смутно, отсутствующе. — И царицы хлѣвов не чистят.

— Анночка, я-же знаю, что тебѣ здѣсь тяжело, я и-все знаю... Ты прямо живешь через силу. Дай срок. Дай время. Матвѣй Мартыныч разбогатѣет. Если со свинушками мѣшать будут эти разные совѣты и коммунисты, Матвѣй Мартыныч найдет... Он к себѣ уѣдет в свободную Латвію, что надо распродаст и там свое дѣло откроет. Он будет богат. Он тебя не забудет, Анночка, ты такая молодая и красивая...

— Мнѣ никогда Аркадій не говорил, что я красивая. Он меня просто любил.

— Он не говорил — его дѣло. А я говорю.

— Я была с ним счастлива, ты понимаешь, медвѣжатина?

Все не снимая своей шубы, Анна присѣла на край закрома.

— У меня в столѣ лежит бумага Тульской консисторіи. Нас должны были уже повѣнчать

— развод кончился. Ну, вот он умер, я опять у вас... что это значит?

Матвѣй Мартыныч подошел и припал к ней.

— Анночка, не грусти...

— Он со мной постоянно. Почему я не могла с ним жить? Гдѣ он сейчас? Куда он дѣлся? Знаешь, его и нѣт, и он и есть... А ты что? Ты ко мнѣ привалился, тебѣ так теплѣе?

Анна вдруг сняла его ушастую шапку и стала гладить рукой по его волосам.

— Ты меня любишь? И такую шубу подарить обѣщал... Руки цѣлуешь, грудь цѣлуешь... ах ты, медвѣжатина. От тебя тепло, ты хорошій пёс, шерстистый,

Матвѣй Мартыныч стал задыхаться.

— Захотѣл меня ласкать...

Анна поднялась, потянулась. Легкая судорога прошла по ея сильному тѣлу. Она прижала к себѣ Матвѣя Мартыныча, потом легко и равнодушно отттолкнула

— Анночка...

— Давай вещи собирать, сурово сказала она. — Чего разнѣжился?

И сняв с себя шубу, тщательно стала укладывать ее обратно в сундук.



— Ну как, Марточка, как и-съѣздила? спросил Матвѣй Мартыныч.

— Ничего. А ты что дѣлал?

— Так, того другого по хозяйству... Вот мы с Анночкой немѣшаевски вещи перебрали...

Марта взглянула на него внимательно. Он

отвел глаза, поспѣшно продолжал:

— Мы сундучек вниз поставили, у подвал... Как там посуше, то мы и поставили. Да, ты знаешь, Марточка, жмыха у нас маловато там... и прямо маловато.

Разговор этот происходил на дворѣ, когда Матвѣй Мартыныч отпрягал лошадь. Вот он снял с нея хомут, шлею, накинул обратку и повел в стойло. Марта не отходила от саней. Потом пошла в кухню и через нѣсколько минут вышла с ключами и зажженным фонарем. Облака тьмы уже сгущались. Она встрѣтила Матвѣя Мартыныча около подвала.

— Ты куда?

— Пойдем, поглядим, сколько жмыха.

— Я-же вѣдь и-сказал, что мало. Мнѣ придется опять в Гавриково ѣхать.

— Пойдем. Я хочу посмотрѣть, как вы там сундук убрали.

Звук ея голоса показался Матвѣю Мартынычу странным.

— Да что убрали... так и поставили.

Но Марта, держа перед собою фонарь, уже спускалась по лѣсенкѣ. Тогда и он за ней направился.

— Я сегодня у докторши Похлёбкина видѣла, сказала Марта, когда они спустились. — Он прямо говорит: никакой нѣт возможности вас отстоять. Как вам угодно, а на-днях нагрянем, и чтобы свинухов ваших ни слуху, ни духу.

— Так прямо и сказал...

— Так и сказал.

Матвѣй Мартыныч помялся.

— Значит, опять надо у-город ѣхать, ну, уж

теперь к Ивану Кузьмичу, долларов с собой заберу, что тут подѣлаешь...

— Жизнь проклятая, сказала Марта. — Для чего старались? Только болѣзнь себѣ нажила, за свиньями за этими... Вещи! Ну гдѣ-же тут вещи оставлять? Надо еще куда-нибудь прятать. Сюда, понятно, с обыском в первую голову придут...

Подойдя к сундуку, Марта остановилась. На земляном полу, нѣсколько вытоптанном в этом мѣстѣ, валялся носовой платок. Марта нагнулась и подняла его. Она вдруг поблѣднѣла.

— Это Аннин платок.

Матвѣй Мартыныч как-то невѣрно двинулся.

— Должно быть, что и обронила Анночка...

Марта опять нагнулась, стала фонарем освѣщать пол.

— Вы тут сидѣли... вы тут вдвоем сидѣли, сказала она глухо. — Что вы...

Матвѣй Мартыныч встрепенулся. Виноватые глаза, перебѣгавшіе со свеклы к жмыху, рѣшили дѣло. Лицо Марты мелко задрожало.

— Я больная, мнѣ, может, операцію будут дѣлать...

— Марточка, да что ты... Ну мы просто тут присѣли, потому что были от сундука уставши.

Марта поднесла фонарь к носу мужа, еще раз увидѣла его презрѣнные, как ей казалось, глаза совсѣм вблизи — и плюнула ему прямо в лицо.

Матвѣй Мартыныч охнул и откинулся назад.

ВАРѲОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Было около пяти. Дымно-сырой день, снѣжинки слегка перепархивали. Близилась свинцовая синева сумерек. Анна лежала у себя на постели. В бѣловатой мглѣ комнатки с лѣвой стороны окно струило послѣднія дыханія дни. В их смутности, млечном туманѣ можно было еще разсмотрѣть справа, над кроватью, фотографію человѣка с длинными усами, еще можно было прочесть загробныя слова: «Аннѣ, на вѣчную память». Но вот-вот все это будет замыто ночью.

Оцѣпенѣніе владѣло всѣ эти дни Анной. Она даже меньше работала. И сейчас — вовсе не в урочный час лежала в своей комнаткѣ. Она безсмысленно смотрѣла в окно. Там виднѣлись верхушки яблонь да снѣг, дорога вдоль сада, по ней уѣхал Матвѣй Мартыныч в город, за жмыхами и в послѣдней попыткѣ отстоять свое добро. А сейчас кто-то ѣдет сюда. Гдѣ теперь Матвѣй Мартыныч? Вѣрно, разглагольствует гдѣ нибудь в городѣ, доказывает. Может, чаёк тянет с блюдечка. Вспомнив подвал, Анна слегка потянулась, так что скрипнула даже постель. Потом легкая улыбка прошла по ея лицу. «Медвѣжатина... неужели и таких любят?» Но она

помнила его объятіе, и в улыбкѣ ея была и насмѣшка, и сочувствіе. Душевно ей было все равно. Ея повелитель, со своими длинными усами, начинал уже тонуть на стѣнѣ в сумерках. Но в темной глубинѣ тѣла был и теплый отвѣт. «Дрянь я перед Мартою, или не дрянь?» подумала она. «Вѣдь не я-же к нему лѣзу... да и что мнѣ в нем!» Но ей все-таки нравилось, вѣчным, неистребимым чувством женщины, что она им владѣет.

Внизу заскрипѣли сани. Видимо, ѣхавшій по дорогѣ оказался у них. Дверь хлопнула, мужской голос говорил что-то Мартѣ. Слов Анна разслышать не могла. Но по тону чувствовала, что хорошаго тут мало. Марта в послѣднее время почти с ней не разговаривала, так что спускаться не хотѣлось. И Анна продолжала лежать. Она уже перестала думать о Мартѣ, Матвѣѣ Мартынычѣ. Открывала глаза, иногда вновь закрывала их. Разница между міром этим и тѣм становилась все меньше — лишь бѣлесое пятно окна давало о себѣ знать. При закрытых-же глазах золотыя точки наполняли темный фон, плыли в нем. Иногда появлялись рожи. Или вдруг разрывался свѣтлый сноп. Эти снопы казались Аннѣ обликом смерти. Она считала, что именно такова и должна быть смерть: р-раз, взорвется, и дальше... что? Этого никогда, за всю свою жизнь, понять она не могла. Не понимала и теперь. Но ее влекло к этому грозному міру. Так и сейчас. Под темноту, под говор снизу залетала она в него.

Опять хлопнула дверь, заскрипѣли сани. «Не хочу я ничего дѣлать, не двинусь», думала Ан-

на. И не знала сама, почему так думает. Но было крѣпко ощущеніе того, что происходит нѣчто необычное.

— Анна! крикнула снизу Марта.

— Я.

— Ты что там дѣлаешь?

— Ничего.

Нѣкоторое время Марта молчала. Слышно было как Мартын подхлёстывает кнутом своих дѣтских лошадок. Потом Марта поднялась по лѣсенкѣ. Она остановилась на порогѣ. Странным образом, Анна довольно ясно видѣла худую, сухую фигуру. Всегдашній холодок прошел у нея по сердцу.

— Был Гаврюшка из Серебрянаго. Пріѣхали из города, нынче в Серебряном ночуют, а завтра утром к нам, и всѣх свиней заберут. Так Похлёбкин велѣл передать.

Анна приподнялась и свѣсила ноги.

— Что-же теперь?

Марта крѣпко держалась за рукоятку двери.

— Не отдам я свиней...

— Пріѣдут, сумрачно сказала Анна, так отдашь.

— Не отдам.

— Что-же ты будешь дѣлать?

— Всѣх зарѣжу, не отдам.

Анна молчала.

— Ты тут валяешься, лодырничаешь, ты вмѣсто чтобы по подвалам шляться... — Марта задохнулась — лучше-бы мнѣ подмогла.

Она протянула руку к комоду, нашла спички и чиркнула. Руки ея были непокойны, когда она зажигала свѣчку.

Ея лицо поразило Анну. Теперь, при свѣтѣ, оно как-бы отдавало все, что скопилось в худом тѣлѣ с большою грудью за мрачные дни, тревожныя ночи. Увидѣв маніакальный блеск ея глаз, Анна тоже ощутила нервный ток, волною пробѣжавшій по ней. «Зарѣжет, да, непремѣнно зарѣжет».

— Мы с Матвѣем столько работали, наживали... не такая буду дура отдавать.

— Куда-же ты их дѣнешь? спросила Анна.

Марта молча подошла к окну, открыла форточку и высунула руку. На ладони ея стали таять снѣжинки.

— Что смогу, свѣтом увезу в город. Остальное пока в ложочкѣ зароем, в снѣгу... Слѣды заметет.

Анна совсѣм встала, выпрямилась. Ей было глубоко безразлично хозяйство, богатство, свиньи. Но сейчас она не могла лежать. Туманная сила, точно зажженная кѣм-то, подымалась в ней.

— Что-ж, сказала она. — Так и так. Тогда ждать нечего.

— Они сейчас не пріѣдут, там, в Серебряном, ревизія. А потом их напоят, самогона у Похлёбкина достаточно. Мы управимся.

— Понятно.

Анна глубоко вздохнула, взяла с комода коробочку с булавками, поиграла ею и опять поставила. Марта спустилась вниз. Анна нѣкоторое время безсмысленно глядѣла на пламя свѣчи, потом быстро задула его и направилась за Мартой, крѣпкой, тяжеловатою походкой — лѣстница заскрипѣла.

А через полчаса она с Мартой уже направлялась к закутам. Марта несла фонарик. Он бросал вперед тусклое пятно свѣта, в котором безпрерывно летѣли снѣжинки. Этот снѣг ложился холодными прикосновеньями на руки, лоб, осѣдал пухом на рѣсницах. Он заваливал мір своей беззвучной пухлостью.

Нож был у Марты. Анна зажгла еще фонарь.

— Без мужчины трудно, сказал Марта.

— Ничего, управимся.

Каждую свинью, дико визжавшую, приходилось связывать и выволакивать в особую закутку, гдѣ стояла лампа. Пол густо устлали соломой. Анна чувствовала в себѣ страшную силу. Марта молчала. Молча, точной и твердой рукой перерѣзала горла свиньѣ за свиньей. Анна их потрошила. В перерывах вытаскивали солому, напитанную кровью, жгли ее в печкѣ и клали свѣжую, чтобы меньше оставалось слѣдов. Убирали и потроха. Палить туши было уже некогда. Анна взваливала их на салазки — и однѣ везла к розвальням, нарочно вывезенным из сарая, складывала их там. Другія — в сугробное мѣсто у канавы сада. Тут поразрыли онѣ с Мартой яму, недалеко от дороги, и туда легло четыре туши. Прикрыла их пятая, Люція. Свалив ее туда, Анна лопатой засыпала яму. Снѣг продолжал итти.

Она чувствовала то напряженіе, когда жить можно только двигаясь. Она могла-бы свезти на этих салазках, вдоль этого сада, гдѣ сиживала с Аркадіем, еще десять туш. Все сейчас было укрыто тьмой. Гудѣли деревья, свѣтился огонек на хуторѣ. Не увидишь ни Серебрянаго, ни

мирных нив, ни малаго кургана. Анна подняла голову. Лицо ея запотѣло. Снѣг воздушно-хладным касаніем осѣдал на нем, таял. Ничего не было видно в безпробудной тьмѣ. Она могла говорить что угодно, как угодно. Лишь Господь, может быть, преклонил-бы к ней ухо.

Она взялась вновь за салазки, повезла их домой. «Мнѣ недолго работать», прошло в ея головѣ. «Скоро я отдохну».

В закутѣ сидѣла Марта. Перед ней на столикѣ стоял штоф водки, лежал кусок чернаго хлѣба с солью. Нож лежал у стѣны. На соломѣ около него кровавое пятно.

— Выпей, сказала Марта. — Мы однѣ. Я устала. Я очень разволнована.

Она сказала это со странною усмѣшкой, и протянула Аннѣ стакан. Глаза ея были подернуты мутью. Руки в крови — она наскоро обтерла их.

— Я-бы хотѣла, продолжала Марта все с тою-же нервною усмѣшкой: чтобы здѣсь был Матвѣй Мартыныч...

Анна выпила. Марта не спускала с нея глаз. Она уже захмелѣла, язык не вполнѣ ей подчинялся.

— Он сильный, это хорошо... Мужчина должен сильный быть.

Она прибавила грубое слово. —

— Анка, я тебя знаю. Мало-ли что твой помер... ты не такая, тебѣ другой нужен.

Анна налила себѣ еще водки. Марта вдруг нѣсколько наклонилась к ней, дыхнула спиртом.

— Только если ты у меня под боком Матвѣя подобрать вздумаешь, я ни на что не посмотрю.

Марта вдруг измѣнилась. Лицо ея приняло осмысленно-свирѣпое выраженіе.

Она протянула руку к ножу.

Анна поставила стакан на стол.

— Не боюсь я тебя. Убирайся. Мнѣ и Матвѣй твой ни на что не нужен.

— А что вы в подвалѣ дѣлали? Почему твой платок там валялся?

— Ничего не дѣлали, холодно сказала Анна. — Ты эти глупости брось. Я не маленькая.

— Не маленькая...

Марта смотрѣла на нее пристально. Правду она говорит, или нѣт? А-а, всѣ они умѣют врать, мужчины, женщины... Все-таки продолжать Марта не рѣшилась. Онѣ замолчали. Анна съѣла кусок хлѣба с солью. Ей казалось, что он пахнет кровью. Она рѣзко встала.

— Кончать так кончать.

Борова и свинью, а также поросят оставили, это все, что имѣли право оставить. Еще двух свиней Анна зарѣзала собственноручно — Марта ослабѣла. Все время шел снѣг. Все время ходили по двору с фонарем. Пѣтухи глухо кричали.

Анна не могла-бы сказать, из-за чего собственно кипѣла. Но ей страстно хотѣлось все так сдѣлать, чтобы завтра, когда пріѣдут совѣтскіе, ничего нельзя было-бы ни понять, ни найти. У Марты от напряженія и тасканія тяжестей начались боли — она ушла в дом. Анна осталась. Она согрѣла воды, тщательно замыла слѣды просочившейся сквозь солому крови, тщательно вылила порозовѣвшую воду в помойку,

засыпала пол опилками, замыла брызги на стѣнах у двери. Уцѣлѣвших свиней перевела в одну закуту, а остальныя так вычистила и выскребла, точно там никого и не было. Двери их оставила настежь, чтобы продуло свѣжим воздухом.

За этими трудами застало ее утро. Оно упорно выкарабкивалось из аспидно-свинцоваго мрака. В его бѣлесости пожелтѣл ночной фонарик. Анна пошла в кухню, долго мыла теплой водой руки, сняла передник и перемѣнила платье. Но руки скоро снова выпачкала, запрягая лошадь Мартѣ. Впрочем, теперь от них пахло лошадью, ремнями шлеи, запахами мира и безобидности. Марту она с трудом подняла. Закрыв туши сѣном, усадив ее сверху, во время спроводила в город.

***

Маленькій Мартын не обращал вниманія ни на что. Был-ли отец в городѣ, уѣхала-ли мать, как провела ночь Анна, для него не имѣло значенія. В мірѣ, кажущемся нам огромным, у него существовал счастливый угол. Деревянныя лошадки, взвод солдат, пушка, кубики, из которых выходили преинтересныя штуки: что могло с этим сравниться? И когда на вопрос, гдѣ мама? Анна отвѣтила, что скоро вернется, он не огорчился и не возражал. Выпив, как обычно, чашку чаю с сахаром и густыми сливками, разставил на полу свою армію.

Анна-же почувствовала необыкновенную усталость. Вот теперь она беззащитна! Не только ничего не может дѣлать, просто двинуться труд-

но, подняться наверх. Ах, как она разбита! Тѣло ломит, в головѣ тьма. Фонарь, визг свиней, кровь... «Навѣрно, сейчас пріѣдут из Серебрянаго». Из окон ложился бѣлый и безсмертный отсвѣт снѣга. «Все занесло, теперь покойно, им удобно будет ѣхать». Хорошо в этом снѣгѣ лежать.

Она прилегла на диванчикѣ. «Кажется, у меня и сейчас руки кровью пахнут» — Анна поднесла ладонь к носу. Нѣт, пахло просто мылом.

— «Хоть бы во снѣ Аркадія увидѣть»... Она закрыла глаза и блаженно улыбнулась. Слеза остановилась под рѣсницами.

Маленькій Мартын открыл огонь из пушки. Солдаты его падали.

ВСТРѢЧА

— Марточка, сказал Матвѣй Мартыныч: ты знаешь, мнѣ все что-то холодно, и руки у меня невеселыя... Я на себя смотрю, и я думаю: эх, Матвѣй Мартыныч, должно быть, ты нездоров. Не простудился-ли ты, Матвѣй Мартыныч?

Марта взяла его за руку и посмотрѣла прямо в глаза.

— Конечно, болен. Нечего и говорить.

— Я так и подумал, когда мы с тобой из города возвращамшись и обоз обгонямши я выскочил из саней, по снѣгу распахнутый бѣжал, то и распарился. Значить, меня обдуло...

— Вот и ложись. А я всю ту ночь распарившись была, свиныя туши таскала, и ничего.

Матвѣй Мартыныч сѣл на постель, снял свою куртку. Ему пріятно было, что вот у него жена, сейчас она уложит его, укроет, и он согрѣется.

— Конечное дѣло, вы тогда с Анночкой молодцом работали, это что говорить. Так что энти сволоча ни с чѣм остались. А все-ж таки свинушек жаль.

Марта сняла с гвоздя тулуп и укрыла им мужа.

— Как не жаль! Ну да хоть что-нибудь за них выручили. А то совсѣм зря-бы пропали.

— Доллар*а* у Матвѣя Мартыныча труднѣе отобрать, чѣм свинушек.

Марта дала ему горячаго чаю. Выпил он с удовольствіем, и укрывшись по самый нос, опустился в туманную дремоту.

Нельзя сказать, чтоб эти дни послѣ истребленія своего хозяйства он чувствовал себя особенно радостно — напротив. Но сейчас в увлажненном теплотой и покоем его мозгу представлялись пріятныя картины: распродав здѣсь все под шумок, он с Мартою и Анной переѣзжает границу. Доллары можно запрятать, или-же в Москвѣ обмѣнять на брилліантики. Так или иначе — кое какое добро с собой вывезешь. Граница, Латвія... Там уж никто не тронет. Опять свинок заведем, да там и скорѣе можно Анночку устроить. Когда дѣло доходило до «Анночки», Матвѣй Мартыныч вполнѣ умягчался, хотя в его сердцѣ и являлись противорѣчивыя чувства: здравый смысл говорил, что ее просто надо выдать замуж, но этого не хотѣлось. Хорошо бы — Марта Мартой, но и Анночка вот пришла-бы, и положила-б руку на его горячій лоб. «Анночка любила своего усатаго, но теперь его нѣт, и Матвѣю Мартынычу нечего мучиться... Матвѣй Мартыныч сам не хуже Аркадія Ивановича». И под вліяніем-ли лихорадки, или от тепла и всегдашняго ощущенія своей значительности, Матвѣй Мартыныч мечтал об Аннѣ мажорно. Долго страдать от нераздѣленной любви он не мог. Все должно было повернуться в его пользу, не могло не по-

вернуться... Если-бы его всерьез спросили, может ли он, тяжело заболѣв, умереть, он отверг-бы такой случай. Матвѣй Мартыныч должен всегда жить, всегда быть бодрым и счастливым.

Теперь он был увѣрен, что пропотѣв, выспавшись, на другой день уже встанет. Но — ошибся. Грипп его оказался довольно сильным. Он не встал ни на слѣдующій, ни на еще слѣдующій день. Пришлось даже съѣздить за Марьей Михайловной. Она нашла у него осложненіе с сердцем. Сердце сильное, опасности нѣт, но надо лежать — в общем дѣло довольно длинное.

Перед отъѣздом Марья Михайловна поднялась наверх к Аннѣ. Анна лежала на постели.

— Вы тоже больны? спросила Марья Михайловна, распространяя свой обычный запах свѣжести и больницы. — Почему вы лежите?

— Нѣт, я здорова, отвѣтила Анна.

— Так что-же?

Анна молча посмотрѣла на нее. Взгляд ея был диковат и пуст. «Какое странное выраженіе глаз», подумала Марья Михайловна. «Что с нею?»

— Теперь у нас меньше работы, вы знаете... я не так занята по хозяйству.

Голос ея показался Марьѣ Михайловнѣ хуже обычнаго.

— И вы ничего не дѣлаете?

— Работаю, конечно,... но довольно много лежу здѣсь.

— Вижу, вижу.

Марья Михайловна покачала головой Все это не нравилось ей.

— Наживете себѣ так настоящую неврастенію.

Анна внимательно на нее посмотрѣла, не сразу отвѣтила.

— Я совершенно здорова. Я только много молчу. Я теперь очень сильная.

«Странная дѣвушка», думала Марья Михайловна, уѣзжая. — «Всегда мнѣ казалась со странностями, а теперь, послѣ этой смерти, все на одном сосредоточилось»...

Около двух Анна спустилась вниз. Матвѣй Мартыныч лежал в дремотѣ. Маленькій Мартын забавлялся игрушками. Бѣлесый отсвѣт снѣга лежал на всем в комнатах. Аннѣ показалось, что она легче, лучше чувствует себя. Марты не было.

— Ну, как? спросила она Матвѣя Мартыныча. — Скоро и на улицу?

— Скоро, Анночка, скоро.

Анна остановилась, хотѣла-было подойти к нему, но раздумала и вышла во двор. Мелкій снѣжок чуть вѣялся с неба, и в мягком, отливающем свѣтом, слегка сквозь облака золотящемся небѣ было уже начало весны. Двор, постройки, деревья, все показалось Аннѣ удивительно пустынным. Она прошлась. У ней явилось ощущеніе, будто впервые она вышла послѣ тяжкой болѣзни. Мір был прекрасен, безпредѣльно далек. Анна прошла в яблоневый сад, подняла глаза кверху. В небѣ сквозь туманныя облака недвижно бѣжало страшное в безмѣрной своей дали солнце, солнце точно бы иного міра.

Анна сказала вслух:

— Аркадій!

Мелкое эхо в лощинкѣ подало:
— Аркадій.
Анна повторила. Эхо еще отвѣтило.
Может быть, она сказала-бы: «Я хочу к тебѣ, Аркадій. Я хочу, Аркадій» — этим всѣм была полна Анна, но ничего не сказала, молча, в ужасѣ повернула назад, она без всякаго чувства выздоровленія, в глубокой тоскѣ приблизилась к дому как раз в минуту, когда Марта вошла в сѣни, и когда за подвалом с цинковою крышей показались розвальни. Анна увидѣла их. Мгновенным взором успѣла разобрать и Трушку в мѣховой теплой курткѣ.

— Пріѣхали, глухо сказала она Мартѣ, затворив дверь на щеколду.
— Кто такіе?
— Трушка, извѣстный... развѣ не знаешь?.. И с ним двое.
Матвѣй Мартыныч завозился в своей комнатѣ. Он был очень слаб.
— Кто там пріѣхал... Анночка, чего ты?
Анна вошла к нему в комнату.
— Гдѣ кольт?
— Зачѣм тебѣ...
Анна оглянулась, рѣшительно отодвинула верхній ящик комода.
— Трушка зря не ѣздит. Знаешь его.
И положив тяжелый кольт в карман полушубка, дулом вниз, направилась к выходу.
— Я с ним сама поговорю.



Трушка шел на своих крѣпких, нѣсколько

кривых ногах к дому Матвѣя Мартыныча. Двое других неторопливо привязывали лошадь. Трушка знал, что Матвѣй Мартыныч успѣл сбыть свиней, что вообще он все распродает, у него есть деньги, что сейчас он нездоров. Трушка был вполнѣ спокоен. Он считал, что сюда можно было-бы ѣхать и одному. Поэтому не стал ждать сотоварищей.

Он не удивился, когда навстрѣчу ему вышла молодая дѣвушка в полушубкѣ. Трушка тотчас узнал в ней ту, кого в морозную лунную ночь встрѣтил у берез машистовскаго сада. Он был настроен почти даже дружелюбно. Правда, в карманѣ его мѣховой куртки лежал браунинг. Но он не взялся за него, а по привычкѣ громко сказал слова, столько раз оказывавшія изумительное свое дѣйствіе:

— Руки вверх!

И только что произнес, по лицу и темным глазам встрѣченной почувствовал, что все не так. Он не успѣл даже додумать, что не так, как прямо в лицо ему блеснул огонь. Тяжелый, длинный удар охлестнул его. Он схватился за живот, упал прямо на снѣг.

— К Аркадію за этим шел, и к нам...

Анна держала кольт дулом вниз. Глаза ея блестѣли. Она тяжело дышала, не могла двинуться. В пяти шагах ничком бился на снѣгу Трушка. Ему все хотѣлось вытащить из кармана браунинг, но боль, слабость, смертная тошнота заливали — топчась головою в снѣг, судорожно хватаясь руками за землю, описывал он по снѣгу полукруг.

⁂

— Марточка, стрѣляют!

Матвѣй Мартыныч в одном бѣльѣ соскочил с кровати.

— Лежи, куда ты...

Марта с двустволкою стояла в столовой. Матвѣй Мартыныч подскочил к окну.

— Один на снѣгу, Анночка сюда бѣжит, за нею еще двое....

Раздались снова выстрѣлы. В дверь постучали.

— Отоприте! крикнул голос Анны.

Матвѣй Мартыныч кинулся к двери. Но его охватили руки Марты. Будь Матвѣй Мартыныч здоров! Но сейчас голова у него закружилась, комната повернулась на оси. Марта без труда кинула его обратно на постель.

— Марточка, они убьют ее!

Он увидѣл над собой зеленые, бѣшеные глаза Марты.

В дверь снова застучали.

— Дядя!

Марта навалилась на него всѣм тѣлом. Снаружи раздались выстрѣлы, тяжкій стон Анны.

МАЙ

Вѣтер и холода первых дней обдули цвѣтущій сад. Бѣлые лепестки плавали в лужицах, земля влажна, дымится под солнцем. Травка совсѣм хорошо зазеленѣла, удивительно сочны золотые одуванчики с молочным соком в стеблях. Дрозды скачут в саду Матвѣя Мартыныча. Но уже на столѣ у него нѣт бланков: «Экономія Матвѣя Гайлиса». Нѣт ни свиней, ни даже коровы. Хлѣвы давно заперты, на дверях цинковаго подвала замок.

Посреди двора телѣга. На ней сидит Леночка. Матвѣй Мартынович с Костей тащат через двор сундук. Раскачнувши, вскидывают на телѣгу. Матвѣй Мартыныч отирает пот с лица.

— Ну вот и вещички Марьи Гавриловны... вот и вещички. Матвѣй Мартыныч все сберег. Мало-бы чего зимой не было, он все сохранил. Так мамашѣ и скажите. Да... и как слышно, то и вы сами, и мамаша из этих краев трогаетесь?

Леночка побалтывает ногами.

— Костя мѣсто в Москвѣ получил. Я тоже надѣюсь. Да, Матвѣй Мартыныч, мы уѣзжаем. Вы вѣдь тоже?

— Мы тоже, тоже.. Нѣт, Матвѣй Мартыныч больше здѣсь не останется. Что тут хорошаго

для Матвѣя Мартыныча? А вы думаете, он у Латвіи пропадет? Никогда не пропадет Гайлис у Латвіи, он там свинок еще больше разведет, он будет богатый.

Матвѣй Мартыныч умолкает. Свѣт милаго солнца блестит в его вспотѣвшем лбу. Поют птицы, нѣжны облачка в синевѣ, над полями в сторону Машистова стеклянное струеніе.

— Матвѣй Мартыныч был тогда нездоров. Очень от лихорадки ослабши. Он бы Анночки так не отдал.

— Да, говорит Леночка: какой ужас!

Слова ея грозны, но каріе глаза полны веселья, свѣта. Ея сердце не в могилѣ Анны, а в благоуханном свѣтѣ мая. Матвѣй Мартыныч-же сошел под землю. Минуту продолжается безмолвіе. Оно полно страшных видѣній. Потом жизнь возвращается. И как здоровались, так-же прощаются. Телѣга уѣзжает. Матвѣй Мартыныч медленно идет домой. Может быть, Анна присутствует? Может быть, вмѣстѣ присутствуют они с Аркадіем, в объятіи загробном?

Из всего прежняго в Мартыновкѣ один лишь маленькій Мартын все тот-же: он играет вновь в свои игрушки, созидает, разрушает созданное, для него все равно, играть-ли здѣсь, или в Москвѣ, или в далекой Латвіи.

Париж, 1929.

ВАНДЕЙСКІЙ ЭПИЛОГ

28 іюля 1951.

Наши отправились на океан. Я один в небольшом домѣ. Свѣтло, пустынно. На столѣ книги и рукописи — то, что неизмѣнно сопровождает меня, куда-бы ни занесла судьба.

Окно выходит в тощій садик при дорогѣ, далѣе зелень, кое-гдѣ домики и направо, вдалекѣ, узкая синѣющая полоса — океан.

Это Вандея. Мы не первый год здѣсь, и все в том-же домѣ, у простых, милых хозяев, старомодных крестьян. Да и страна такая-же: не скажешь, чтобы было блистательно. Как раз скорѣй будни. Зелень, поля, иногда виноградники, мѣста ровныя, дороги обсажены такими кустарниками-изгородями, что чрез колючки их не продерешься. Нѣкогда здѣсь бушевала борьба, а теперь тихо. Все прошло. Иногда попадаются старыя башни — остатки помѣщичьей жизни XVIII вѣка, но сейчас это крестьянская страна и очень католическая. В самом Бретиньолѣ нашем огромная церковь, в воскресенье служат три мессы подряд. В такой день мимо моего окна ѣдут и на велосипедах, и пѣшком идут из сосѣдних селеній — все в нашу церковь. И входящіе в Бретиньоль видят статую Спасителя при въѣздѣ, от нас совсѣм близко. А от церкви

недалеко, в особом тупичкѣ, воздымается огромное Распятіе.

. . . . Двадцать восьмое іюля... — в прежней Россіи считалось пятнадцатое, день св. Владиміра. Полвѣка назад, в Москвѣ, утром этого дня нѣкій молодой человѣк, развернув газету увидал в ней свой разсказ и свою подпись под ним. Неважное для міра событіе! Но для него самое важное — началась новая жизнь. И вот если-бы тогда подумать, что пятидесятилѣтіе писанія этого будешь встрѣчать в Вандеѣ, пред таким вот раскрытым окном, в тишинѣ, свѣтѣ деревенскаго уединенія, и что Москва, Россія, всѣ наши поля, лѣса, благоуханія покосов, зорь, весенней тяги, благовѣст сельской церкви, смиренность кладбища какой-нибудь Поповки тульской... — что все это град Китеж, Китеж! Даже имени Р о с с і я больше нѣт.

Вот и хорошо, что мысли такой не было. К чему? Не нами все устроено. Сколько слѣдует знать, знаем. Чего не слѣдует, то закрыто. «Птицѣ положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух летѣть способно; так и человѣку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько ему надо знать, чтобы прожить, столько и знает» (Чехов).

Так что насильно ломиться в будущее нечего. А вот прошлое вспоминая, скажешь: все принимаю, за все благодарю, и за радость, да и за горе (всего бывало, всего достаточно. Но для твоей-же пользы). И если вот чужбина, одиночество, родины нѣт — значит, так Богу угодно. Что могу я сказать со своим крохотным умом?

. . . . Нынче у нас будет пирог, и всѣ близ-

кіе мои, мои родные поздравят меня и чокнутся стаканом мѣстнаго вина — чокнусь я и с хозяином и с сестрою его: это их собственное вино, своего виноградника, сами ухаживали, воздѣлывали.

Вечером-же, на зарѣ, выйду, как и нерѣдко в Россіи дѣлал, один в поля. Дойду до статуи Спасителя, в полутьмѣ благословляющаго десницею своей края Вандеи. Подойду к пьедесталу, сяду на ступеньку. Так и буду сидѣть — у Его ног.

Проѣдет каміон, блеснув огнями. Запоздалый воз на двуколкѣ, медленно погромыхивая, проскрипит к нам в селенье. И опять настанет тишина.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.